

С.201798С
Владимир Крупин
ЯМЩИЦКАЯ ПОВЕСТЬ

3 ТМО Т. 5000000 З. 1225—86

Владимир Крупин

ЯМЩИЦКАЯ ПОВЕСТЬ

Москва
Современник
1986

Р2
К84

Крупин В. Н.

К84 Ямщицкая повесть.— М.: Современник, 1986.— 96 с.

Повесть известного прозаика Владимира Крупина в увлекательной, остросюжетной манере рассказывает о первых трудных днях преобразования деревни, проходящего в обстановке жесточайшей классовой борьбы.

Герой повести — вятский мужик, лихой ямщик Прон Толмачев, отстаивая свою, «мужицкую» правду, нелегким путем приходит к пониманию новой, Советской власти.

К $\frac{4702010200-213}{М106(03)-86}$ КБ—11—034—86 ББК84Р7 Р2

Владимир Николаевич Крупин

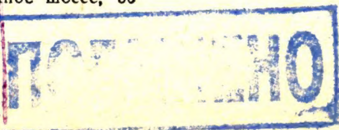
ЯМЩИЦКАЯ ПОВЕСТЬ

Редактор **О. Голева**
Художник **А. Сергеев**
Художественный редактор **Г. Саленков**
Технический редактор **Н. Децко**
Корректор **Г. Селецкая**

ИБ № 4820
Сдано в набор 03.02.86. Подписано к печати 14.04.86. Формат 84х108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.-отт. 5,48. Уч.-изд. л. 5,1. Тираж 500 000 экз. Заказ 41. Цена 30 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30



...действительность не так слабонервна, как драматические писатели, она идет до конца.

Герцен

1

Ночью подохла выездная лошадь Захара Шарыгина. Чтобы ее закопать, он позвал на помощь станционного смотрителя Якова Толмачева. Яков, понимавший в лошадях, заметил, что лошадь была больна не простой болезнью. Напугал и хозяина: зараза.

Захар поспешно вывел из конюшни остальных лошадей, осмотрел. На вид они были здоровы. Только одна — беспородная, но сильная рабочая лошадь дышала часто, запаленно. Воздух с хриплым звоном шел в легкие, с морды капала слюна. Захар поставил ее обратно, остальных погнал на свой хутор.

Яков сказал о подохшей лошади председателю волостного Совета, молодому парню Анатолию.

Телефон еще работал, Анатолий позвонил в уезд.

Ветеринар приехал быстро, вошел в стойло, руками в перчатках повернул лошадиную голову на закоченевшей прямой шее, осмотрел язык, зубы, глаза, определил:

— Сап.

Пока лошадь цепляли вожжами и вытаскивали, ветеринар, сбросив перчатки, писал акт.

Рабочие, приехавшие с ним, и Яков, посланный председателем в помощь, доволокли коня до оврага на незасеянной земле, сбросили. Потом один из рабочих прошелся по волоку, сплескивая на землю керосин из большой, тусклого зеленого стекла, бутыли.

Якова крикнули подписать акт. Он пошел. Его остановили, заставили вытереть лапти горстью соломы, смоченной в керосине.

Рабочий достал пучок серных спичек, зажег одну и бросил на солому. Огонь быстро спалил солому и, ви-

ляя синим хвостом, запрыгал с пятна на пятно, побежал от конюшни к оврагу.

Ветеринар, щурясь от дыма, говорил председателю:

— Конюшню надо бы сжечь. Это по любым законам. Сап, шутишь, что ли! Хозяина-то нет. Подпись его нужна.

— Уж какие шутки, — ответил Анатолий, глядя на дорожку огня и дыша неприятным запахом керосина и горелой земли.

Яков, подписавший акт, сказал:

— Тут две написано.

— Вторую тоже, — ответил ветеринар. — Нечего и смотреть.

— Где Шарыгин? — спросил Анатолий.— Куда его черти унесли?

— Может, за ветеринаром же и уехал, — сказал Яков, хотя видел, что Захар угнал здоровых лошадей на свой хутор.

— Ладно, — сказал ветеринар. — Жечь не будем: быстро хватились, керосином забрызгаем.

Анатолий встал с бревна, пошел к конюшне. Вторая лошадь, еще живая, лежала в деннике.

Анатолий достал наган и, морщась, подошел к ней.

— Обожди, — сказал ветеринар, — опять тащить придется. Пусть сама дойдет. Рабочих пожалей.

Яков захлестнул веревку вокруг шеи лошади. Рабочий торопливо подбежал помочь, ударил лошадь ногой в спину. Лошадь неожиданно бодро вскочила, скакнула через низкий, избитый копытами порожек стойла.

Ее повели по черной выгоревшей дорожке к оврагу.

У оврага Анатолий встал с боку, низкое рассветное солнце ослепило его, он отстал, зашел с другого бока и быстро, навскидку, выстрелил.

Голова лошади дернулась, поднялась на толстой короткой шее, прямые ноги затвердели и разъехались в стороны, как у жеребят, впервые встающих на ноги. Рабочий рукой в рукавице завалил лошадь вбок с обрыва.

Анатолий отвернулся, пошел к конторе почтовой станции, пряча наган и вытирая руки о пиджак.

Трупы коней залили керосином, туда же к ним в овраг бросили рукавицы и веревку, стали засыпать землей.

Ветеринар сел в тарантас. Анатолий сказал:

— В уезде передайте, что второй день почты нет.

Ветеринар оторвал клочок газеты, взялся за кисет, но засунул его обратно, объяснив:

— Керосин выветрится, тогда закурю. О почте передам. О мятеже ты слышал, конечно. Снизу по Вятке идут.

— Слышал, — сказал Анатолий. — Был пакет. После этого ничего не знаю.

Рабочие, закончив закапывать лошадей, тоже сели в тарантас.

— Может, поели бы, — предложил Яков. — Я хоть и без бабы, а все ж таки чего-нибудь состряпаю.

— Через час дома будем, — ответил ветеринар. — Понукай.

Тарантас отъехал. Анатолий и Яков посмотрели вслед, молча пошли в контору.

— Рань какая, — заметил Яков. — Зимой в это время самый сон. Лег бы, поспал... — Анатолий не ответил. — Небывалое дело в нашей деревне, — продолжал Яков, — лошади заразные. И где только Захарка сумел заразу подцепить?

— Что это за опекунство Захара Шарыгина над Анной Шатуновой? — перебил Анатолий.

— Она же, ты знаешь, тронутая, не в себе, рехнулась то есть, — неохотно объяснил Яков. — Божья душа. Вот и опекает. Бумаги у него есть.

— Наше право считать бумаги старого режима недействительными, — зло сказал Анатолий, с облегчением переключаясь на другое дело.

— Больного опечь недействительно? Что ж это за Советская власть?

— Дом Шатуновой Анны он раскатал?

— Он, — признался Яков.

— Куда подевал? Продал?

— На хутор увез.

— Вернет!

— Ему приказывай, — переадресовал Яков. Он достал из своего стола тяжелую книгу в черных деревянных обложках.

— Прикажу.

— Правильно, — одобрил Яков. — Девку хуже скотины держит.

Солнце наконец добралось и до окон почтовой станции. Загудели на потолке крупные мухи. Анатолий открыл окно и тут же закрыл: услышал запах керосина. Яков засунул палец в книгу, как закладку, и, видимо продолжая вчерашний разговор, спросил:

— Значит, отделена? Получается, значит, извини-подвинься?

— Прошу вас, — терпеливо сказал Анатолий.

— Меня не просили, когда отделяли.

— Меня, кстати, тоже.

— Неужто большевики друг дружку не спрашивают, не советуются? Молчишь? А ведь не может такого быть, чтоб тебя не крестили. Имя-то не на дороге подобрали. Как имя без церкви?

— Ну, прилип. Крестили, Яков Яковлевич. Но крест не ношу. Хватит! Я объяснял: отделена, но чувства верующих уважаются.

Яков хмыкнул.

— Вот и уважь, послушай: «Дондеже имамы время», то есть пока еще есть время...

— Ну!

— «...попечемся о единородных своих душах и домашних своих: муж о жене, жена о муже, отец о сыне, сын об отце...»

— И так далее, — снова остановил Анатолий, глядя на часы, но Яков все-таки закончил:

— «...мати о дщери, тщи о матери, брат о сестре, сестра о брате». Поверь мне, председатель, что отделена очень зря. Может, и нет бога, чирей мне на язык, прости, господи, может, и нет, а сказать об этом нельзя. Тут такое начнется!

Анатолий посмотрел на свои часы. До первой почты оставалось часа три.

— Посплю, — решил он. — Яков, уважать чувства — не значит уважать человека. Долдонь свою хрестоматию сам, мне других хватает. Как почта, сразу буди. Шарыгин появится, вызовешь.

Анатолий перешел пыльный, пока прохладный тракт, вошел во двор Якова, у которого был на постое, лег отдохнуть в клети. Он боялся, что снова схватит чувство одиночества, мучившее бессонницей. Но когда вытянулся на жестком топчане, то с радостью ощутил

легкость уставшего человека. Он вспомнил убитую лошадь и успокоил себя: «Все правильно: надо!»

2

Связь на тракте прервал Прон Толмачев, брат Якова, старший ямщик. Был он известен тем, что в юношестве, в одиннадцатом году вез знаменитого своей земельной реформой Столыпина. Восемнадцать верст прогнал он за семнадцать минут. За это Столыпин из своих рук дал ему золотую десятку. Деньги к деньгам пошли: кому из проезжающих не лестно, чтобы его промчал ямщик, отмеченный министром.

Деньгами Прон не сумел распорядиться, своей станции не заимел, правда, купил взамен загнанного коренника жеребца той же крови, на нем и ямщичил.

Прона отличили, держали для фельдпочты. Был он на перегоне Уржум — Шурма старшим. В семнадцатом году в декабре, как раз когда в Вятскую губернию пришла Советская власть, Прон женился. Даже на свадьбе не выпустил Прон из рук вожжи, сам правил тройкой — вороным коренником и каурыми пристяжными. «Не боишься?» — кричал он невесте. «Нет», — отвечала она и застенчиво смеялась.

Оружие у Прона при новой власти отобрали, секретную почту возить не доверили, пересадили на ямщицкие козлы.

Пошел Прон в монопольку, брякнул столыпинскую десятку, которую называл рублем, напоил ямщицкую братию, кнут за пояс и — в гоньбу. И гонял всю зиму и весну восемнадцатого года.

В начале лета, накануне того дня, когда Анатолий убил заразную шарыгинскую лошадь, к Прону явились с обыском. Ничего не нашли, требовали почему-то золотой столыпинский червонец, как будто он был меченый. Прон не сдержался, погнал милиционеров взашей. Милиционеры его не забрали, но поколотили крепко, здоровья убавили.

Прон пришел на почтовую станцию в Шурме, сбросил с тарантасов кожаные мешки с почтой, собрал ямщиков и подговорил их бросить ямщину, разойтись по домам. Ямщики все были деревенские, согласились. Во-первых, болело сердце о незасеянной земле, а домой не

отпускали даже на день: связь по тракту требовалась непрерывная; во-вторых, Прона слушались.

Прон в свою деревню поехал пока без жены: беременна. Но поехал не один, взял с собой Сеньку Бакшаева, прибившегося этой весной к ямщикам и которому идти было некуда.

На станции они застали Якова, пошли вместе с ним в дом. Яков сказал, что председатель спит в клети. Прон, злой на все начальство, пошел и запер его. Потом вернулся в избу. Объявил Якову, что распустил ямщиков. Яков испугался и сказал осторожно:

— Бога бойся, Пронька.

Прон вскочил, отлягнул стул, стол качнулся. Сплеснулась брага из полных стаканов, повалилась набок плетенная из лыка солонка.

Яков, опасаясь, остановил брата:

— Не ори. Я для сдержки.

— Не ору, — ответил Прон и подошел к окну. О стекло билась черная муха. Прон, руки еще тряслись, поймал ее, оторвал крылья... «Жить будешь, летать перестанешь», — сказал он и лбом уперся в белый от старости оконный переплет.

У екатерининской версты, в пыли, спала Анька-дурочка. Вековые березы чернели сквозь обвисшие ветви коростами черной коры. Под окном сидел Сенька Бакшаев, рассматривал взятые им в конторе председателевы часы, пел одну за другой частушки:

Кабы не было муки, не было бы теста.
Кабы не было жены, не было бы тестя.

Прон отдернул шпингалет, толкнул от себя раму.

— Чего распелся?

Сенька спрятал часы, повернулся, посмотрел на Прона:

— С тоски.

— Ну, ори, — Прон поставил на место солонку, рукавом подтер пролитую брагу.

— Так ты чего говоришь, Яша?

— Бога, говорю, бойся.

— А я боюсь,— сказал Прон.— Боюсь. Дополни, сплеснулось.

Яков вытянул затычку, отер горло бутылки рукавом.

— Сенька, хочешь выпить? — крикнул Прон.

— С дорогой душой! — откликнулся Сенька.

— Иди сюда. Кто поумнее, тот лучше выпьет, чем в церковь идти. «Иди молиться!» — «Спина болит». — «Пойдем в кабак». — «Погоди, оболокусь, да как-нибудь доволокусь». — Прон добавил зло, без усмешки: — Дураки люди. И хорошие тоже дураки. Все чего-то делят, возятся. Я ямщину бросил, толмачу мужикам: пашите, дураки, сейте, подохнете без земли.

— Как бы тебе боком не вышло, боюсь. Самое такое время и — связь оборвалась. Это ты ведь, считай, всей Сибири глотку перехряпил. Мятеж снизу, слышал?

— Слышал. А кто бы ни шел, никто за нас пахать не придет. Пей! — приказал Прон вошедшему Сеньке.

Тот взял стакан, выпил. Налил, не спросясь, другой.

Прон перехватил осуждающий взгляд Якова.

— Пусть пьет.

Сенька выглотал и второй стакан, похвастался:

— Меня без подножки и пьяного не свалишь.

Прон тоже выпил, отодвинул стакан.

— Часы верни. Я тебя взял не воровать, а работать.

Сенька заикнулся было, но спорить не стал, достал и положил на стол часы Анатолия.

— Попили со встречи, — сказал Прон. — Перекур. — Он стал надевать рубаху.

— Не будут сеять, — сказал Яков, — боятся. Председатель по-своему разделил, Шарыгина вшестеро против прежнего урезал.

— Захарка не сдохнет, — отозвался Прон. — Переделивать не будем.

— Ах, ты! — вдруг вспомнил Яков. — Коней-то у Шарыгина убавилось, забыл рассказать.

3

Заскрипели доски крыльца, стукнуло кольцо, дверь открылась. Вошел мужик, босой, в портяных штанах, в черной грязной рубахе. Перекрестился на передний угол, снял зимнюю шапку.

— Подайте, христа ради.

— Прежде чем креститься, шапку снимай, — заметил Яков. Однако взял каравай хлеба, прижал левой рукой к плечу, провел рез, снял с каравая ломоть, хотел отсечь половину.

Прон покосился:

— Целый дай.

Яков подал. Мужик опустил ломоть в торбу, потом вдруг достал его обратно, откусил и снова спрятал. Прожевал, сглотнул.

— Дай бог всем вам жену здоровую, сестру богатую. Попить бы... водички хоть.

Сенька наклонил булькнувшую горлом бутыль, налил браги. Нищий, торопливо крестясь, стуча пятками, подбежал и, не закончив крестного знамения, схватил стакан и выпил.

— Сапоги где спрятал? — спросил Прон.

Мужик подавился последним глотком, закашлялся.

— Не в то горло пошло, — объяснил он.

— От жадности, — вставил Яков.

— Редко ведь видим красоту-то, — оправдывался мужик.

— Ну, убогий, — повторил Прон, — сапоги, говорю, где?

Нищий вытер бороду, еще кашлянул, отступил к порогу.

— Да ведь и вы без обуви, Прон Яколич.

— Знакомый, что ли? — спросил Сенька.

— Нет.

Нищий оскалился, сдвинул мешавшую ему торбу за спину.

— Как уж и не знать мужицкого заступника.

— Сапоги где, спрашиваю? — Прон встал.

— Что ты к нему привязался? — одернул Яков, убирая от Сеньки и ставя на пол бутыль. — Прон! Не беленись. Не вели, господи, принять, вели, господи, подать.

Нищий пятился к выходу. Прон схватил его за рубаху, вернул к столу.

— Разве не видно, что босиком не умеет ходить. — Он взял мужика за ногу, как берут за ногу лошадей, собираясь перековывать. — Мозоли не натер. Не стыдно побираться? — Он хлопнул мужика по животу, тот согнулся, икнул. — Нищий! Тебя легче перепрыгнуть, чем обойти. — Повернул мужика спиной, пощупал торбу, изумился: — Один кусок только подали? С краю шел?

— От краю, от краю, — подтвердил мужик.

— Врешь! — сказал Прон. — До середины дошел, только один кусок. Нигде не подали?

— Сразу сжирал! — захохотал Сенька.— Дай я его, Прон, в соху запрягу.

— Откуда? — спросил Прон.

Нищий, не ответив, огрызнулся от Сеньки:

— Себя запрягай, — и повернулся к Прону: — Возьмите к себе, Прон Яковлев.

— Куда к себе? В работники? Не держу. Свое сам обработаю. Дом-то твой где?

— Нету, — нищий потупился. — Все отобрали, проклятые... — Он замялся.

— Не знает, на кого соврать, — засмеялся Яков. — Скажет, старая власть, а вдруг мы за нее, скажет, новая — да опять не попадет.

— Морду бережет, — высказался Сенька.

— За мужиков хочу стоять! — Нищий поднял голову.

— Стой, кто тебе мешает. — Прон вернулся к столу.

— А где же твои ямщики, Прон Яковлев? — поинтересовался нищий.

Яков, боящийся обострения, сказал нищему:

— Совесть бы имел. Подали, выпил, и иди с богом.

— Где ты нынче совесть-то нашел? У кого? — спросил нищий.

— Сейчас найду, — пообещал Прон.

4

Сенька догнал нищего, уходящего от дома по задворкам. Пугая, дернул его за торбу. Нищий судорожно повернулся, увидел Сеньку и совсем не испуганно крикнул:

— Ну-ка, цыц!

— Чего цыц, чего цыц? Ходишь, высматриваешь, где бы чего спереть.

Нищий, ничего больше не говоря, шел своей дорогой. Сенька озлился, схватил за рукав:

— Ну-ка пойдем!

Нищий выдернул рукав из рук Сеньки, свел редкие желтые брови.

— Пойдем, пойдем! — повторил Сенька. — Дождешься у меня! Тоже, в такую мать, нашлась нищета.

Нищий оглянулся на дом Толмачевых и вдруг сильно ударил Сеньку ребром ладони выше ключицы. Сенька захлебнулся, опрокинулся на сухую пашню, примял редкие, поздно просекшиеся всходы картофеля.

— Ты ведь нездешний, — сказал нищий.

— Ямщичил я, — говорил Сенька, отодвигаясь и вставая на ноги. — Ты тоже, размахался. Я тебя трогал? И я могу.

— Прон всамделе один? Где ямщики?

— Прон велел тебя проверить, — торопливо оправдывая себя, говорил Сенька. — Я разве бы стал. Нищий и нищий.

— Где ямщики?

— По деревням.

— Почтовые лошади где?

— С ними, где еще!

— Вот что, — сказал нищий. — Смажь запятки да уматывай отсюда.

Сенька, испугавшись, заговорил совсем по-другому:

— Хошь, я тебе еще хлеба принесу? — уверяя тем самым, что принимает мужика за настоящего нищего.

— И этим-то подавись, — ответил мужик, вытряхивая торбу. Надкушенный кусок хлеба, цветом похожий с землей, упал в борозду. — Скажешь Прону: не догнал!

Нищий пошел под гору к реке. Пустая торба похлопывала его по ляжке. От реки нищий повернул к тракту и по пешеходной тропинке рядом с трактом направился в сторону Шурмы.

Сенька сплюнул, выматерился. Снял и встряхнул испачканную рубаху.

Носились стрижи. Парило. Над землей струился прозрачный жар. Казалось, земля горит бесцветным пламенем.

5

Слышно было, как, нагреваясь, потрескивали бревна избы, нарождались новые трещины.

— Одна радость безлошадному — заразы не боится, — закончил рассказ об убитой лошади Яков.

— Жалко, — сказал Прон. — Лошади не объяснишь, что нельзя иначе.

— Как не жалко.

Прон встал, обошел горницу. Ударил ладонью по простенку — отдалось по всей избе.

— Значит, так, — сказал он, снова увидев спящую Аньку-дурочку, — отъямщичил. Бабу... жену то есть, перевезу. Не против? Пусть здесь и рожает.

— Что зря говорить? — обиделся Яков. — Половина избы твоя. Даст бог, лесом разживемся, построимся.

— Даст.

— И жену вези и вещи...

— Какие у меня вещи? Хомут да клещи. — Прон снова прошелся по горнице, оглядывая по-хозяйски стены. — Может, мху надрать, пока молодой?

— Зря ты с этим лешим связался, — неожиданно сказал Яков. — В две глотки льет.

— Я его не в работники привез, свой надел выделим. Куда ему, безродному, приткнуться. Без царя в башке, со шпаной свяжется. А я баловать не дам.

— Смотри. А за почту все-таки ох попадет тебе, Пронька: невиданное дело — связь прерывать.

— Я бы не стал, — ответил Прон. — Обида взяла. Пришли с милицией: где рубль, который Столыпин дал? Вроде того, что иудины деньги. Дырку, говорю, продырил, вместо креста ношу. «Покажи!» А этого не хочешь? Злость, Яшка, взяла: что я, Столыпина ради рубля вез? Подавись он. Скорость показывал. Вот, мол, какие вятские ямщики. Да ладно! — Прон вдруг засмеялся. — Будут и меня помнить.

Яков понял, что сейчас брат расскажет, как дрался с милиционерами, и, зная силу Прона и не любя рассказы о драках, сменил разговор.

— Лег бы, поспал.

Прон кивнул, как будто соглашаясь, но думал уже о другом:

— Землю не пахать — одичает. На одворицах копошатся, а в поле не идут. В город хотят, а кто их в городе ждет?

Яков начал стелить на деревянной кровати. Брату он не возражал: он и сам, разделав одворицу, в поле не собирался.

— Жарко в избе, — остановил Якова Прон.

Наладив постель, Яков стал убирать со стола. Прон

ходил за ним от стола к печи и объяснял, будто оправдывался:

— Не может такого быть, чтоб крестьянин с земли уходил. Ребята, говорю ямщикам, давай по своим деревням пройдем, залежится земля, перестоит погода. Из-за рубля я разве бы стал.

Яков сердито гремел посудой.

— Чего, неправда разве? Яш?

— Заботься, заботься, — как будто сам с собой рассудил Яков, — посмотрим. Поле! Мужик пузо и картошкой набьет. Хлебушка-то посей хоть с ладошку, все равно ведь все вытянут, обшишкарят до зернышка. Для людей, эх, нашел для кого! Отец живой был, не при тебе ли приводил пример! Люди!

— Какой? — спросил Прон.

— Забыл?! Стоит на площади толпа вокруг человека. Он изо всех сил кричит: «Дай! Дай!» Никто не слышит, все глухие. Тот же человек шепотом говорит: «На! Возьми». И все сразу к нему. Услышали.

Прон хотел подкусить Якова напоминанием о его жалостливости, к тому же нищему, например, к Аньке-дурочке, но, понимая, что Яков хочет ему добра, заговорил о другом.

— Сейчас подвалить сосенок, ошкурить. Может, сразу и сруб на просушку. Сколь на избу? — спросил он, хотя знал, конечно, как знает любой мужик, сколько лесин уходит на избу.

Яков прекратил свою литанию, ворча:

— Сколь-сколь! Шестнадцать венцов, шестьдесят четыре лесины. Да на матицу хорошую, на стропила, пол, сени, крыльцо, хлев не сразу, считай, семьдесят. Да на косяки, на подушки одну смоляную. Чего зря болтать, у кого ты билет выпишешь?

— У себя, — ответил Прон. — Я — хозяин. Сказано: земля — крестьянам, значит, — и лес.

Яков не ответил.

— Яшка, — примирительно сказал брат, — плевал я на ямщину и рад, что наплевал.

— Ладом надо было рассчитаться, — откликнулся Яков, — ладом, а то ох как тревожно.

Прон надел рубаху, открыл дверь. Обдало свежестью еще не душного, но уже горячего воздуха. Щурясь, осмотрел двор и вспомнил вдруг о председателе.

Шагнул с крыльца и запнулся о Сеньку. Сенька зализывал самокрутку и рассыпал табак. И так-то Сеньке было невесело, а тут тошно стало. Прон, не заметив Сенькиной тоскливости, хлопнул его по плечу:

— Строиться будем, Семен!

— Нищий-то задами ушел, — сказал Сенька, почему-то раздражаясь от удара по плечу.

— Ладно, — ответил Прон. И они разошлись: Прон к клети, Сенька в избу.

6

— Не будут мужики сеять, боятся, — сказал Яков, думая, что вернулся брат. — Да и мужиков не осталось, проредили.

— Все боятся, — сказал Сенька, подсаживаясь. — Брат твой никого не боится, только всех жалеет, дурак. Зря! Через кровь доходит! — возвысил он голос. — Одного приткнешь, до остальных дойдет.

— А тебе приходилось? — неприветливо спросил Яков.

— Мне? — Сенька захохотал, как закашлялся. — Бабы больше всех людей губят. Рожать не хотят, изводят у знахарок, а то заспят. Бабы виноваты, что народу мало.

— Злой ты, Семен.

— Всех ненавижу, — вдруг сказал Сенька. — Расшиб бы всех вдребезги, чтобы никого не видеть. — Он ударил кулаком по лавке. — Всех! Не верю никому. Себе не верю, не то что! О! Вот и баба!

Прикрывая юбкой пыльные лапти, вошла Анька-дурочка. Закрестилась, забормотала. Лицо ее, сомлевшее от жары, было в красных полосах — спала лицом на рукаве.

— Сядь, Анна, поешь. — Яков уже сходил на кухню за хлебом.

Анька-дурочка схватила кусок, отбежала к порогу, села на пол и стала есть. Сенька отвернулся и засвистел. Яков поставил на табурет перед Анькой блюдо окрошки. Та схватила блюдо и, сплеснув квас на юбку, опустила блюдо на пол.

— Не свисти, — заметил Яков.

— К покойнику, — отозвался Сенька. Считая, что

нечего стесняться Аньки-дурочки, спросил: — Давно она рехнулась?

— Нет в тебе, Семен, жалости, — попрекнул Яков.

— А меня хоть одна собака пожалела? Хоть одна?

Яков не выдержал:

— Ты хоть одну собаку накормил?

— С чего она все-таки? — спросил Сенька примирительно.

— Мужа взяли на германскую. Так и с концом. Ближе к семнадцатому приходит бумага на розыск как дезертира. — Анька-дурочка подняла голову. — Ешь, ешь, Анна. Ее таскать — где прячешь? С обыском приходили. Да раз, да другой — нет. Опять таскать. Так и дотаскались.

Анька-дурочка дохлебала окрошку, спрятала корку хлеба и встала. Яков подошел за блюдом, Анька шагнула в сторону и наступила на шапку, оставленную нищим. Подняла, понюхала и жестами стала просить ее у Якова. Мол, спать, мол, вместо подушки.

— Бери, бери, — ласково сказал Яков, — не бойся.

Анька-дурочка, снова крестясь и кланяясь, ушла.

7

Прон вынул из петли замок, отбросил засов. Анатолий проснулся. Прон, напрягая в темноте зрение, спросил:

— Сидишь?

Анатолий тоже сощурился, привыкая к свету.

— Нет, дрова рублю.

Прон сел на порог клети:

— А дрова умеешь рубить? Вот скажи, когда березовые лучше колоть, утром или вечером? Летом или зимой?

— Здороваться надо, — сказал оклемавшийся ото сна Анатолий. Он увидел в открытую дверь тополь, соривший тополиным снегом, серым, похожим на раздерганный войлок. — А, Прон? Почту привез?

— От хрена уши, а не почту. Ты вот спал и не знал, что был под замком. Запирал я тебя. Дай-ка, — он быстро нагнулся и взял с изголовья председательский наган.

— Дальше что? — сказал Анатолий.

— У меня такой же был в фельдъегерях, отобрали, тебе отдали. Тебе доверили. Ну, правильно. Мне б лошадь не убить.

— Отдай.

— Нет, — сказал Прон. Помолчал, глядя, как насторожился председатель. — Молод ты. Зла на тебя нет, мужики о тебе плохо не говорят, а шел бы ты от нас. Поешь, и иди. На дорогу возьмешь. Иди и всем закажи приходить. Мужики, мол, сами разберутся, и хозяев им не надо. Так я понимаю новую власть.

— Почту, значит, не привез?

— Значит, не привез. Соберитесь вы все в одно место, и писать вам друг другу не надо будет. Я серьезно советую — уходи.

— Я тебя арестую, — сказал Анатолий.

— Давай, арестуй. Как же ты сам-то? Милицию звать придется. Ну? Пойдешь или нет?

— Подумаю, — Анатолий сел поудобнее.

Прон достал папиросы.

— «Дюбек», — сказал он. — Ты думаешь, мужики всю жизнь будут махорку курить? Спички Лапшина горят, что солнце и луна.

— Не курю.

— Как же ты без курева с мужиками говорил?

— Как с тобой, так и с ними.

— Наган я тебе верну, чтоб без утраты, а то не отчитаешься. — Прон курил неторопливо, следя, чтобы не заронить искру. — Я ведь тебя не в первый раз вижу. Не забыл, как ты на станции орал: лошадей! лошадей! То-то и есть, что лошади, коней не осталось. Заездили.

Сухонький в серых перьях воробей припрыгал к клети, беспокоя тополиный пух. Он выклевывал из пуха черные точки семечек.

То, что Анатолий молчал, взбесило вдруг Прона. Он вскочил, испугав воробья, заговорил:

— Возили вас сотнями по тракту и возят. Власть ездит! А что твоя, что любая власть, только и снуете туда-сюда, гужи рвете. Связь вам! Может, еще чего?

— Притормози, — посоветовал Анатолий.

Прон плюнул в ладонь, чтобы погасить и приберечь окурок, но бросил и растоптал. Хлопнул ладонью по штанам.



— Вот твоя власть. Сели на глотку...

— Кто тебе сел? — Анатолий встал, вышел из клети. — Кто сел? Царь сидел, его спихнули.

Пронька отмахнулся:

— Царя давно ни во что не ставили. А что ж опять мужику жизни нет? Не от хорошей жизни присказка: какая власть, такая и масть. Я толмачу (Анатолий улыбнулся), ты не улыбайся. Толмачу одно: есть власть — земля. Вспаши, посади. Все!

— Как все? А дождик, а солнышко?

— Ты не подъерыкивай. Думаешь, ямщик к тебе задницей сидит, так задницей и думает?

— Что же ты о власти? — спросил Анатолий.

— То! Земля! Власть над людьми можно получить, а над землей хрена с два! На обрыве до ледохода ты землю делил, а река подмыла берег, земля обвалилась, чья она?

— Стихия. Надо берега укреплять.

— Что же не укрепляешь?

— Руки не дошли.

— Прон Яковлевич!

— Ну! — Прон поднял голову, и они встретились взглядами. — Чего вдруг звеличал?

— Хороший ты мужик.

8

Кабы не было земли, не было бы рощи.
Кабы не было жены, не было бы тещи! —

заорал с крыльца Сенька Бакшаев. Он шел на сеновал.

— Беседа, — оскалился он. — Задушевный разговор вел с дощечкою топор. Говорили та-ра-ра́ — ни доски, ни топора. Спать я!

Он полез по лесенке, хватаясь за перекладины:

Кабы не было реки, не было бы моря.
Кабы не было жены, не было бы горя.

Зашуршал наверху пыльным, прошлогодним сеном.

— С огнем не балуй, — прикрикнул Прон.

— Сляпаем, — не к месту отозвался Сенька и, громко зевая, проговорил:

Не стояла б под венцом, не было б свекрови.
Не ходили б на войну, не было бы крови.

Яков подошел к Прону и Анатолию.

— День-то как тянется, — заметил он. — К вечеру не помнишь, что утром делал.

— О единородных душах ты пекся, — напомнил Анатолий.

Прон усмехнулся. Яков, будто не слыша Анатолия, продолжал:

— Парит и парит. Гроза соберется. Дождь бы лучше. Вчера побрызгало, пыль только прибило. Гроза тоже без толку. Ливанет без разбору.

— Дождь-то для чего? Куриную слепоту поливать? — спросил Прон беззлобно.

— Одворицы-то посеяли, — возразил Яков.

Разговор был вялый. Обвисли размягченные листья на тополе. Над грядками огорода поднимался рассеянный жар. От теневой стороны хлева, где росли аршинные лопухи, отдавало теплой сыростью. Листва на березах переливчато струилась. Неслышная тополиная метель мелькала в воздухе. Тополя стояли как шерстяные. Анатолий вздохнул.

— Чего вздыхаешь, Советская власть? — спросил Прон.

— С вами застонешь, не только что...

Братья засмеялись.

— Мужики, — заговорил Анатолий. — Как-то неладно получается. Все хотим как лучше, а не идет.

Яков стал выцарапывать тополиный пух из бороды.

— В избу бы пошли говорить.

— Я арестованный, — подмигнул Якову Анатолий.

— И как тебе легче: арестованным или председателем? — поинтересовался Прон.

— Арестованным, — ответил Анатолий.

Засмеялись втроем.

— Мужики, — снова взялся за свое Анатолий. — Земля ваша, я на ней лишний, ладно, уйду.

— Кто тебя гонит? — обиженно спросил Яков.

— Брат.

— Про-о-он?!

Прон нахмурился, молча глянул на Якова.

— Вы мужики умные, — подмазал Анатолий, — с кем, как не с вами, посоветоваться. Земля ваша, так? Хлеб, значит, ваш. Так? Попахал, хлеба поел, на печку полез.

— Не тараканы! — прервал Прон.

— А детей выучить не хотите?

— Выучим, — успокоил Прон. — Темными не будут.

— А когда учителям землю пахать?

— Обществом прокормим.

— А учителей на учителей кто будет учить? Пахари? А если детей дальше учить?

— И дальше выучим.

— Допустим...

— А что ж не допустить? — рассердился вдруг Прон. — Не хуже других. — И вдруг неожиданно наскочил на Анатолия: — Что, если вятский, так толоконник, лапотник? Так если так, то... Что, если мужик, так только в землю носом да в монопольку? А хоть и вятские, а возьми: Екатерине — березы-то она насадила по тракту — самокат сделали, машин еще в завиданках не было, часов сколько деревянных, за границей по ним спать ложатся, — это только посчитать! Ты командуешь! Кем?

— Конечно, вятский — народ хватский.

— Семеро одного не боятся, — подхватил Яков. — Еще говорят: на полу сидим и не падаем, или: один подает, семеро на возу и кричат: не заваливай! — Яков хотел свести разговор к шутке.

— Эх вы! — сказал Прон.

Возникшая было близость в разговоре исчезла. Прон спросил Анатолия:

— Тебя послали бы в другое место, поехал бы?

— Я не выбирал.

— То-то и оно. Значит, не именно сюда. Значит, тебе что тут, что там. — Прон произнес горько: — Как идет эта заваруха, ни одной свадьбы не возил. Девки забудут, как ленты в гривы коням вплетать. Свадеб нет, мужиков угоняют. Одна наука: «Вперед коли, назад прикладом бей, от кавалерии закройсь!» Видано ли дело — зыбки выбрасывают. Слышал, как бабы поют: «Подросла трава высокая, да некому косить. Подрастают наши дочери, да некому любить»?

В тишине слышно было, как щелкают нагретые тополиные стручки. Прон стоял с равнодушным лицом, показывая всем своим видом, что председатель не велика шишка, а в Proновой деревне он вообще нуль.

— Так вот, — решительно заговорил Анатолий. — И

свадеб наиграем, и народ увеличится. Неужели ты в это не веришь?

Яков, давая понять, что брат не одинок в споре, сказал:

— Верить-то верим, да больно все медленно.

Прону не захотелось иметь заступника.

— С коих это порёнок ты заспешил? Жени председателя, раз не терпится.

— Я о другом, — терпеливо сказал Анатолий, — я о хлебе. Нужно много хлеба, значит, нужно много машин, лошадьми не справиться.

— Машины! — Прона зацепило за живое. — Машину запрячь — дело хорошее, с лошадей хомут снять. А то сколь стоит матушка-Россия — все лошади да лошади. Одной кожи на кнуты и на хомуты истрачено прорва.

— И на кнуты для людей.

— И для людей, — Прон говорил спокойно. — Лошадь бьешь — бежит быстрей, человека — соображает поживее.

— Вот он такой, — обратился Яков к Анатолию, — на себя наговаривает. Кого хоть ты бил-то, кого хоть раз ударил? — упрекнул он Прона.

— Посмотреть еще эти машины надо, — сказал Прон. — Сможет ли земля эку тяжесть держать?

— Сможет. Так слушай, я не агитацию развожу, только рабочие не пашут, которые машины делают. Надо их кормить?

— С ними мы сами договоримся. Напрямую.

— Пойдемте в избу, — взмолился Яков.

Тяжелый зной стоял над деревней. Земля ссыхалась.

— Договорить надо, — сердито сказал Прон. — Тебя разморило, иди отдохни.

Он шагнул под навес, в тень, где стояли выездной тарантас-плетенка, телега, лежали соха с деревянными ручками и деревянная борона.

Здесь было попрохладнее. Яков, тяготившийся бездельем, взял из корыта отмокающее ивовое корье и стал отрывать лыко от коры.

Разговор сбился. Прон стал помогать брату. Анатолию делать было нечего.

— Что же ты хотел договорить? — спросил он.

— А! — снова замыкаясь, отмахнулся Прон. — Говори не говори.

— Нет ли у тебя, Анатолий, такой возможности, чтоб Аньку-дурочку вылечить? — спросил Яков. — Хотя ее уже, наверное, не вылечишь. Сколь ни шептали над ней, через хомут продевали, толку — пшик. Она — интересное дело — бежмя бежит к лечению, как ровно чувствует, что ей добра хотят. Шепчут, с угля брызгают, волокита все это!

Прон пожалел председателя, видя его беспомощное состояние.

— Отдам я тебе наган, — сказал он. И все-таки не сдержался: — Ты этим наганом хлеб выколачивай. А то ведь знаем, как бывает: власти хлеба не дашь, она солдат пришлет. А солдатики тоже не пашут, а кушать им вынь да положь.

— Ты всех бы за сохой заставил ходить.

— Перед богом все равны, и перед работой надо, чтоб равны, — вставил Яков. — Полегче, Прон, полегче, — урезонил он брата.

— Новая жизнь! — говорил Прон, дергая лыко еще сильнее. — Посчитал бы, кто поумней, сколько этих новых жизней было. Раз веришь, другой раз, третий, глядь — уж подыхать пора. — Он дернул так, что выдернул из рук Якова корье, бросил в корыто: — Землю делил, сколько себе нарезал?

— Нисколько, — ответил Анатолий.

— Ваше благородие, гражданин-товарищ, — ерничая, протянул Прон. — Ведь это ты сглупил. Шарыгинскую землю рассовал, себе не взял, мужикам показал, что больше всех Шарыгина боишься. Другое показал, что жить здесь не собираешься...

— Нам не угодишь, — сказал Яков, — а взял бы председатель себе земли, считали бы — вот хапает.

— Я угождать никому не собираюсь, — резко сказал Анатолий. — Хлеба мне вашего не надо. Но хлеб нужен армии, поэтому надо его сеять.

— А не посеем, и отбирать нечего будет, — рассудил Яков. — Сунутся — хлеба нет, уйдут. До земли ли нам. Сейчас такая перетрубация идет — ой, да батюшки!

— И в это время ты, Прон, оборвал связь.

— Перебьешься. Да, — спохватился Прон, — ты же

арестовать меня хотел. На, — он отдал наган. — Как же без оружия.

Анатолий взял наган, спрятал его в карман.

— Дурак ты, Прон, все-таки.

— Дурак, — согласился Прон. — Яшка, жеребца накорми.

— Накормлю. Ему сегодня праздник, как на Фрола и Лавра. И у нас ни дела, ни работы, пропащий день,— добавил Яков, считая разговор бесполезным.

— Почему пропащий? — возразил Анатолий. — Все-таки поговорили.

— А до чего договорились? — спросил Прон. — Ты не за себя говорил, за должность. Сам человек подневольный. В другом месте так же бы распоряжался.

— Я не подневольный, я сам вызвался ехать.

— Именно сюда?

— Вначале было все равно. Теперь не представляю, что мог быть не здесь.

— Нам еще повезло, что такой председатель, — вступился Яков.

— Я не говорю, что председатель плохой.

— Тогда о чем и говорить?

— О земле.

— Господи, твоя воля! — Яков перекрестился. — И тростишь, и тростишь! Что тебе земля? Земля нынче богатая. Сколько в нее в революцию золота закопали — чудо страшенное. Она богатая, пусть побудет барыней. Может, и золото взойдет, — хитренько подхихикнул он.

— Сеять надо, — твердо сказал Анатолий.

— Разве я спорю, — сказал Яков и полез на сеновал.

Прон и Анатолий остались одни. Прон тоже дернулся пойти прочь, но Анатолий, желая оставить последнее слово за собой, спросил:

— Ты Декреты Советской власти читал?

— Грамотный.

— Мир народам, земля крестьянам, а дальше?

— Что дальше?

— А дальше — хлеб голодным. Прон, было ли такое, чтоб русский человек голодному не помог?

— Не было, — согласился Прон. — Если голодный — немощный. А начнут воевать, крестьян от дела

отдернут, и выйдет — разложи воробья на двенадцать блюд.

— А как же, и воевать приходится. За тебя же!

— А за меня воевать пустой номер.

— Ты бы знал, сколько в Красной Армии крестьян.

— Если и есть, так, думаешь, по своей воле. Захомутали.

Яков высунулся с сеновала:

— Семен не вылезал?

— Нет.

— А ведь Сеньки-то нету, — объявил Яков.

— Купаться, наверное, пошел.

— Дак ведь увидели бы. Сбежал?

— Да ну! — отмахнулся Прон. — Пойду вздремну. А ты, — посоветовал он Анатолию, — все-таки уезжай. Я на станцию не вернусь и из деревни не уйду, а здесь, по сравнению с тобой, мой верх будет, меня будут слушать.

— Я останусь.

— Тебе же лучше хотел. За семьей поеду, тебя отомчу.

— Останусь.

— Вольному — воля, спасенному — рай, — отозвался Прон и ушел.

— Неладное дело, — говорил Яков, спускаясь, — что он, через ясли пролез? Зачем?

— Эх, мужики, — сказал Анатолий, заправляя рубаху в брюки. — Пока вас не коснется, вы не зашевелитесь. Неужели Прон думает, что ему так легко обойдется?

— Все под богом, — уклонился от ответа Яков. — Не живешь, как хочется, а живешь, как можется. Наше счастье — дождь да ненастье. В контору? — спросил он уходящего Анатолия.

— В контору, — ответил тот.

Улица была пуста, жаркий воздух, похожий на синюю пыль, стоял над дорогой. На тропинке воробей, уцепившись за тополиный листок, прыгал, будто плясал с зеленым платком. Тополиный пух взлетал, как будто воробей плясал на разорванной перине.

Навстречу Анатолию выбежал мальчишка, босой, в белой рубашке. Он присел и стал раздувать тлеющий прутик, который держал в руках. Огонек появился на

прутике, но пух разлетелся. Мальчишка перепрыгнул через канаву и осторожно прошел на лужайку, всю белую от пуха. Бросил прутик под ноги. Огонь взметнулся и стал разбегаться, расширяя темный, в крапинках семян круг. Мальчишка смеялся. Огонь обручем катился по лужайке.

— Пожар сделаешь.

— От пуха-то, дядя, — мальчишка улыбнулся. — Сколь себя помню, всегда пух жжем.

Обруч огня искривился, задымил и погас, оставив неровную темную полянку.

— Видите? — сказал мальчишка и побежал.

Над Вяткой темнело. Анатолий оглянулся. Сзади тоже грудились тучи.

9

Сенька действительно бежал. Он притворился, что спит, потом спустился через ясли в стойло, оттуда вылез в окошко, через которое выкидывали навоз. И так же, как нищий, задворками, побежал по тропинке и свернул на тракт. Он вспомнил угрозу Прона и решил подбросить председателевы часы обратно в контору. Но он не только не подбросил их, а перерыл все ящики, но денег не нашел.

Вначале он шел торопливо, то и дело срываясь на бег, и быстро устал. Оглянулся — сзади никого. Тогда пошагал медленнее по измаявшейся от жары дороге вдоль вековых екатерининских берез.

«К чертовой матери! — повторил он. — К чертовой матери всех. И Прон, и председатель, и деревня, — пропадите вы все пропадом!»

В сапогах было жарко, портянки намокли горячим потом. Редкая листва берез давала сквозную тень, прохлады в такой тени не было. Сенька свернул к березе, сел на корень, выпирающий из земли. Поднялся ветер. Ветки березы покачнулись. Жмурясь от пыли, Сенька разулся.

Здесь его и застигла гроза, навалившаяся разом. Сенька спрятался от косого ливня за толстым стволом, но все равно моментально промок.

Среди шума воды, хлещущей с неба, неожиданно

сухо трещал гром, вначале пугая молнией. После ее вспышки на мгновение все чернело.

Сенька крестился, суеверно кусая свой богохульный язык.

Ворон, застигнутый ветром, метался над трактом. Он никак не мог сесть — ветки берез плескались, как будто их полоскали в дожде. Ворон правил обдерганными крыльями к березе и, может быть, уцепился бы, как вдруг его полоснуло, бросило вниз, на тракт, смыло в канаву. Ручей несся как нахлестанный, вода в нем шипела, грязная пена клочьями разбрызгивалась по сторонам. Ворона закрутило, унесло.

Сеньке казалось, что его обязательно убьет под березой, но выйти боялся. И когда увидел на тропе конника, то обрадовался и выскочил навстречу. Он увидел вооруженный (прикладами вверх, чтобы не залило стволы) верховой отряд. Гром поутих, переместился, но дождь был еще сильный.

Лошади задирали морды, мотали гривами, встряхивались. Шлепала грязь с копыт.

— А-а! — услышал Сенька веселый голос и испугался, узнав нищего.— Куда?

— К вам! — торопливо соврал Сенька.

— Лошадь ему!

— Что, знакомца встретили, ваше благородие? — спросил верховой, отвязывая от седла повод запасной старой лошади.

Сенька засунул грязные ноги в сапоги, мокрые портянки сунул под рубаху и сел в седло.

— Знакомец! — подтвердил нищий. — Не останавливаться!

Прошла тачанка с пулеметом, накрытым шинелью.

— Командир! — позвал нищий. — Вот парень может подтвердить. Чисто.

— Хорошо, — ответил мужчина в плаще внакидку, в фуражке без кокарды.

— Значит, ночуем?

— Ночуем.

— Ко мне, пожалуйста, — пригласил ехавший рядом с командиром мужик. — Хлеб да соль. И ты, Иван, — повернулся он к нищему, — разве я тебя обойду.

— Ладно, Захарка, — усмехнулся нищий, — пона-

хлебничаю, — и спросил Сеньку: — Значит, послушался моего доброго совета, ушел от Толмачева?

— Ушел, — сказал Сенька. — Я ему не работник.

— А чего ты с ним связывался?

— Ямщичили вместе, — неохотно сказал Сенька.

Дождь кончился, потянул свежий ветер, и ему стало холодно.

— Как в ямщики попал? Почему не забрили?

— Беглый я, — угрюмо признался Сенька.

— О-о! Колодник?

— Нет. От рекрутчины.

— Жизнь долгая, и на каторге побываешь, — успокоил нищий. — Я вот побывал.

Поехали молча. Отряд поднялся на взгорье перед деревней. Командир остановил коня. Даль отодвинулась, была зелена, чиста. Дождь проходил над деревней.

— Где председатель? — спросил командир Сеньку.

— С Проном разговаривает.

— Прон — это Толмачев? Ямщик?

— Угу.

— Лошади ямщиков, значит, по деревням?

— Да, — ответил Сенька.

— Шатунов! — сказал командир. — Ты в контору. Взять председателя. Живым. Иван, слышишь?

— Он у брата Прона, — сказал Сенька.

— Это рядом, — сказал Захар. — Я покажу.

— Взять и Толмачева. Дежурный взвод разместить на почтовой станции. Много там места?

— Полно́. Там арестантская, по́катом, враз по сотне ночевало.

— Всех туда. Охранение и прочее.

Он махнул рукой, отряд двинулся дальше. Пулеметчик на тачанке снял с пулемета шинель. От шинели шел пар.

— На Толмачева можно повлиять, — сказал Захар и, нагнувшись к командиру, заговорил быстро и вполголоса.

Отряд потянулся к деревне. Было легко дышать. Ручей в придорожном кювете стих, высветился. Сенька оглянулся. Конные, которым что-то говорил Захар, поскакали обратно.

Снится Прону, что пляшет вокруг него много людей. Сходятся все ближе, притопывают. Жарко, а все в шапках, в полушубках. Притопывают, приплясывают и припевку поют: «Ни стыда, ни совести, ни собачьей болести...»

«По-русски пойте!» — кричит Прон и видит, что его не понимают.

«На стену Толмачева, на стену!» — командует Шарыгин. — Молитесь на него, христопродавцы! Сплющивай его, делай из него икону!»

С двух сторон полотнами ворот сжимают Прона.

...Он проснулся от удара грома. Схватил край льняного полога, утер потное лицо. Из низкого окошка тянуло душной пыльной сыростью. Прон закашлялся. Наваждение исчезло, но голова была тяжелой, и в затылке отозвалось, когда он встряхнул головой. Повернул тяжелую, набитую пухом камыша-чернопалочника подушку, приклонил голову и снова забылся.

Лежит Прон на обрыве, над Вяткой, холодно ему. Как собака скулит он, сжимается. Холодно сверху от дождя, холодно снизу от земли, холодно с боков от ветра.

Подошел к Прону Анатолий, укрыл его цветным половиком.

«Не надо, — протестует Прон, а сам кутается, но все равно мерзнет и жалуется: — Зябко мне. Карачун приходит. Шерстью бы обрасти. Ни от кого бы не зависел...»

10

Ветер, пригнавший грозу, был так силен, что сгибал травинки у основания до прямого угла, стелил кусты, обрывал зеленые листья, ломал тополиные ветви. Удары ветра взметывали дождевые струи, пушили их на мелкие брызги. Казалось, что пошел снег.

Анатолий сидел у окна и смотрел на сверкающие капли. Стекло промыло, закидало брызгами. Капли текли вниз по стеклу, сливались в ручейки.

Дверь стукнула. Анатолий повернулся, узнал — Сенька! С ним еще один. Они молча подошли, Анатолий тогда только почувствовал неладное, когда Сенька

стал заходить сзади. Анатолий ступил в сторону, но второй молча и коротко ударил его сапогом.

Прона разбудил Яков. Он тряс его и что-то быстро шептал. Прон вскочил, почуяв беду. Уйти он не успел. Его схватили на крыльце, он рванулся, но чем-то ударили по ноге, подкосили. Прон все-таки, хромая, добежал до заплота. На плечах повисли, схватили сзади за шею, рванули. Он вертко отскочил, но подвела нога. Выкручивая руки, матерясь, его повели к клети. Прон забился, выдернул руки, но сзади по шее ударили прикладом. Трава, промытая дождем, почернела. Голова отяжелела и свесилась на грудь. Ноги дрогнули. Волоком, как куль с мукой, перетащили Прона через порог клети, бросили на землю и ушли. Лязгнул запор.

— Ну спасибо! — сказал он, пробуя поворотить шеей.

Прон ощупал трупелые, подающиеся под руками доски по бокам ямы, гнилые бревна нижнего венца. Кочки холодного зеленого мха выступали из щелей.

Прон решил делать подкоп. В том, что он уйдет, он не сомневался. Он уже начал ощупывать клеть вдоль стены, вспоминая, что где-то тут валялась лопата, но запор снова залязгал. Прон поднял голову, пытаясь рассмотреть и узнать кого-нибудь снаружи.

— Эй, — крикнул он, чтоб потянуть время, — дай камень ногу прижечь.

— Так подохнешь, — ответил незнакомый мужик. — Давай другого!

В клеть втолкнули сразу упавшего и неловко вывернувшего связанные руки Анатолия.

— Ты! — прикрикнул охранник. — Развяжешь, башку оторву!

Дверь захлопнулась.

В щель проник и вызолотился в пыльной темноте солнечный луч.

Прон, обрывая ногти, помогая зубами, ослабил узел на руках Анатолия, сдернул веревки.

— Вожжи, суки, не пожалели, разрезали, — заметил он.

Анатолий отполз в угол, его стало тошнить. Он отплевывался, начинал говорить, но тошнота снова поднималась к горлу, вытягивала жилы на шее. Наконец

он вытер горбушкой ладони рот, подошел и сел. Белело в темноте его помертвелое лицо.

— И рвать-то тебе нечем, не ел ничего, и я-то тебя не накормил, — огорченно сказал Прон.

Анатолий передохнул:

— Твой парень связывал.

— Сенька? — сказал Прон, вставая и кривясь от боли в ноге. — Ну мать его так!

Анатолия опять скрутило. Он захрипел, отползая.

— Эй, — заорал Прон. — Вы можете человеку ковш воды дать?

Ударил выстрел. В дверях высветилось отверстие. Еще один луч предзакатного солнца просквозил клеть.

— Ага! — сказал Прон, отскочив. — Вот, значит, как.

— Напился? — крикнули из-за двери.

Прон подхромал к лежащему Анатолию, приподнял его, посадил.

— Мы уйдем, — негромко сказал он. — Не может такого быть, чтоб не ушли. Били тебя?

Анатолий кивнул.

— Били, — отметил Прон. — Запомним. — Чувствуя, как злоба накатывается на него, он схватился рукою за рубаху на груди, но сдержался, не рванул.

— Не понимаю, — сказал он, — за что тебя посадили? Меня, дело ясное, за почту. А ты чем проштрафился?

— За то, что председатель. Это же мятеж, снизу шли.

— Вон что, — протянул Прон. — И что им в нас корысти?

Они замолкли. В тишине слышались голоса, отгороженные от них простреленной дверью. Заржала лошадь, ей ответила другая.

— Кони у них молодые, — отметил Прон. — Гулять хотят.

Анатолий молчал, и Прон испугался мысли, что Анатолий умер.

— Парень! — позвал он, тормоша Анатолия. — Парень!

— Что?

— Я уж думал... уснул, — сказал Прон. — Да ты бы и поспал. Или не спи, поговорим. Ты уж на меня зла не держи, что так вышло.

— Ты-то при чем?

— Что тебе досталось-то, вот о чем, — объяснил Прон, — что в моей деревне тронули, за деревню неудобно. Не спал бы я, разве бы допустил. Сонного меня ущучили. Проспал все царствие небесное.

11

Анатолий наконец свободно передохнул и сел поудобнее.

— Прон, связал бы ты меня. Проверят, тебя свяжут.

— Пусть.

— Не пусть. Зубами копать?

— Ладно, свяжу, — пообещал Прон, пошарив по земле и находя обрывок вожжей. — Недолгое дело.

Помолчали. Скрипел колодезный журавль, гремело ведро. Слышно было, как оно шлепается в глубине колодца о воду, захлебывается и, полное, идет наверх.

— Коней поят, — сказал Анатолий.

Прон кивнул.

— Поят. — Помолчал. — В детстве с обрыва у Вятки катались. На воротах. Человек по двадцать. Снимали полотно, и по льду вниз. Длинная гора — обратно вытягивать четверы вожжи связывали. Раз ехал, леденец сосал и под полотно попал. И жамкнуло здорово, и леденцом подавился. Дышать не могу. Хорошо, рядом мужик-лапотник жил, лапти плел. К нему втащили, давай откачивать. Хриплю. Он догадался, лычиком леденец протолкнул.

— Чем? — спросил Анатолий.

— Лычиком. Лычком. Ну, лыком. Лапти, говорю, он плел.

— А-а. А чего вдруг вспомнил?

— Так. За разговором время быстрее.

— Я тоже раз чуть не погиб, — сказал Анатолий. — На реке же. Только летом. Вернее, весной. В гимназии сдали экзамены, пошли купаться. Я не умел плавать, шел по пояс и оступился. Яма. Тону, а не кричу. Совсем уже захлебался, а почему-то не крикнул. Выбрался кое-как, лег, отдышался. Никто и не заметил.

— И я бы не крикнул, — сказал Прон. — У меня тоже случается история — вот умереть, а нет, думаю,

сам выкарабкаюсь. — Он пошевелился, охлопывая землю вокруг себя.

— Курево ищешь? — спросил Анатолий.

— Лопату, — ответил Прон. — Курево бы сейчас куда с добром! Стоп! «Дюбек»-то? Эх ты, огонька-то нет. Спросить?

— Выстрелит.

Прон ругнулся, решил.

— Пожую. — Пожевал и выплюнул. — Да ладно, не сдохну без курева.

— Горько?

— Попробуй.

Анатолий наугад протянул руку. Руки их встретились. Прон почему-то отдернул свою.

— Не привык, и не надо. — Слова произнеслись строго, и Прон подумал, что Анатолий может истолковать его жест как то, что он пожалел табаку, разбавил строгость шуткой: — Ты ученый, разве куреву учат? Не учат ведь.

— Не учат.

— Интересно получается, — сказал Прон, — ты моложе, а учился больше.

— Не доучился я.

— Учился бы. Здесь-то чему научишься? Смотреть, как мужик мужику руки вяжет? Это же стыд-позор. Было ли когда такое?

— Было.

— Где?

— В истории.

— В истории, — хмыкнул Прон. — А из-за чего мужиков стравливали?

— Все из-за того же. Из-за земли, из-за власти.

— Из-за земли — я поверю, но чтоб из-за власти — это вранье. Власть нужна тому, кто работать не хочет.

— А что, все мужики хотят работать?

— Подкусил,— сказал Прон, и оба засмеялись.

— Вот именно, что толковых мужиков надо выдвигать.

— Зажрется мужик.

— Тебя сделать начальником, зажрешься?

Прон подставил руку под тонкий луч солнца. Желтое пятно высветило ладонь.

— Я не пойду.

Плоская, длинная мокрица пробежала по руке Анатолия. Он вздрогнул. Прон, сделав знак Анатолию, тихо подошел к двери, нагнулся, посмотрел в дырку от пули. Далеко над огородами, ближе к Вятке, чертили воздух стрижи. В дырку тянуло теплом парной, разморенной земли.

«Никого», — повернувшись к Анатолию, жестом дал понять Прон. Отступив за косяк, толкнул дверь. Снаружи болтнулся и звякнул замок.

— Но! — крикнул, как кричат на лошадей, охранник. — Пулю захотел?

— Сидит, — сказал Анатолий.

— Сидит, — отозвался Прон и засмеялся. — Сидим-то мы. Утром я надсмехнулся над тобой: запер тебя, мол, арестованный, а вон как вышло! Нельзя никогда над человеком смеяться.

— Скоро стемнеет.

— Зимой бы в эту пору уже было бы темно. Зимой бы посадили. Так опять земля б была мерзлая. Эх, все-то нам неладно.

Анатолий, брезгуя мокрицами, поднял руки с земли, взялся крест-накрест за плечи.

— Тятька-то из крестьян? — спросил Прон.

— Нет,— отозвался Анатолий.— Военный.

— А фамилии твоей я и не знаю.

— Такая фамилия, обыкновенная...

И вдруг участие Прона и возникшая родственность их по несчастью так поразили Анатолия, что он тихо, стараясь не глотать слез, заплакал, привалясь головой к стене, подтянув ноги к болевшему животу.

12

У дома Захара Шарыгина, где остановился командир отряда, сидел Сенька и соскребал ножом грязь с потника. Чувствовал он себя плохо, хотел выпить, но не знал еще, как себя вести с новым начальством. Хотя из-за чего было тосковать? Он пришел не один, с силой; сила есть власть, власти надо подчиняться,— дальше этого Сенька не шел. Но как ни утешайся, получилось, что он откачнулся от Прона, помогал связывать председателя, даже ударил его.

Интересно, что ударил не оттого, что выслуживался

перед нищим, а сам, вспомнив, что у него часы председателя, которые Прон велел вернуть.

Ему приказали сидеть у крыльца, никого не впускать в дом,— он сидел. Дали седло, велели почистить. Он чистил. Попытался взбодрить себя песней:

Снéги белые упали,
Дождь пошел — растаяли... —

но не кончил куплета, отложил седло, вытер нож о высыхающую ступеньку.

Из дома вышел давешний нищий, уже без бороды и усов, в коротком полушубке на плечах.

— Бал-карнавал! — весело сказал он, проводя ладонью по голому лицу.— Идем за Пронькой.

Сенька струсил. Он неожиданно достал часы, протянул нищему.

— Председателя.

Нищий взял часы, попробовал повернуть заводное ребристое колесико. Пружина была закручена до предела, колесико не повернулось.

— Твой трофей,— сказал нищий, вертая часы.— Председателю один черт к богу в рай. Ага! — вдруг вспомнил нищий.— Вот еще приложи-ка,— он скинул с плеч на Сенькины колени короткий полушубок, какие берут летом ямщики на случай дождя, холода, ночлега.— Не задрогнешь!

— Спасибо.— Сенька принял подарок и пошагал за нищим.

— Председателя тоже? — угрюмо спросил он.

— Почему тоже? — нищий оглянулся.— Одного председателя.

— Мы же за Толмачевым идем,— напомнил Сенька.

— Тьфу ты! — сплюнул нищий.— Я думал, ты спрашиваешь, кого к стенке? Я и говорю — одного председателя. Я о тебе Степачеву докладывал,— добавил он.— Он велел испытать. Испытаем! — сказал он, улыбаясь значительно.— Или сбежать хочешь? Беги.

— Куда я денусь? — пробормотал Сенька.

— Эх,— сказал нищий,— дарить так дарить! — Он протянул наган Анатолия.

— А тебе... а вам?

— Есть,— успокоил нищий.— Не с первым комиссаром встречаюсь.

Влажная листва подсыхала. Тополиный пух, прибитый дождем, походил на птичий помет.

Прон, услышавший шаги, успел захлестнуть вожжой руки Анатолию. Различил голоса:

— Ну как?

— Сидят, не кукарекают.

— Как надо отвечать?

— Так точно, слушаюсь, сидят, ваше благородие,— поправился охранник.— Пить просили.

— Открывай.

— Слушаюсь!

Охранник уронил ключи в мокрую траву, поднял и стал скрести ключом в замке.

— За мной,— сказал Анатолий.

Дверь открылась.

— Пожалуйте, Прон Яковлевич,— вежливо пригласил невысокий, широкий в плечах мужчина.

Прон переступил порог, опираясь рукой о косяк, и увидел Сеньку.

— Вы пить хотели? — подаваясь вперед, спросил мужчина.

Пронька узнал его.

— Здорово, Шатунов. Днем тебя в бороде не признал.

— Ты что ж, так-распротак, пить человеку не дал? — отчитал нищий охранника, не отвечая Прону.— Закрывай! Идемте, Прон Яковлевич.

— Ему пить дайте,— сказал Прон.

— Дадут,— успокоил нищий.

Пошли. Прон хромал сбоку тропинки, оставляя в мокром подорожнике темную полосу. День все длился и длился. Крыши домов высохли, и сразу серое их серебро стало розоветь.

— На Самсона дождь — до бабьего лета мокро,— заметил нищий.— Сегодня ведь Самсон?

— Хорошо в дезертирах, Шатунов? — спросил Прон.

— Благородием стал,— ответил нищий, но так, что дал понять, чтобы Прон говорил, да не заговаривался.

Сенька шел сзади и радовался, что Прон ничего плохого не сказал ему. Желая обратить на себя внимание и враз подольститься к обоим — бывшему и теперешнему — начальникам, сказал:

— Прон! Поступай на службу.

— Ты уж поступил, я вижу,— ответил Прон, обернувшись, и нечаянно сильно ступил на больную ногу. Его подхватили под руки.

— Вот ведь, черти, человека не берегут,— возмутился Сенька, но прикусил язык.

Но Шатунов поддержал Сеньку:

— Виновных накажем!

13

Анька-дурочка, которую Яков, тоже узнавший ее мужа, Шатунова, посадил в своей избе под иконами, сидела и дрожала от страха. Она боялась круга, очерченного вокруг нее Яковом, и креста, взятого с божницы и положенного на порог.

Просветление, которое время от времени приходило к ней, пришло и сейчас. Но если раньше она не помнила ничего, как будто засыпала в одном, а просыпалась в другом месте и не помнила сна, то теперь точно знала, что до того, как прояснилось в голове, она ела у Якова окрошку.

Все это время она сидела на лавке, поджав ноги под портяную юбку. Она слышала, как Яков рассказывал Захару о расстреле лошадей, потом было тихо, потом мимо окон прошли Шатунов и Сенька, вскоре они возвратились с Проном.

Шапка нищего, взятая утром у Якова, была с Анькой, Анька услышала голос мужа, схватила шапку, почувствовала родной запах. Но тут же подумала, что рассудок снова качается, что глаза наливаются темной водой.

— Млится мне, мерещится,— сказала она и поняла, что пока в своем уме. Бабы говорили ей, что сумасшедшая она безъязычна, только мычит.

— Помлилось,— повторила она, дрожа, и отбросила шапку за круг, потому что именно в тот момент, когда она прижала шапку к лицу, раздался голос мужа. Дикая мысль, что шапка заговорила, поразила ее. «Свят, свят, свят!» Анька вскочила и тут же села — показалось, что крест на пороге шевельнулся.

«Господи, благослови и пронеси,— зашептала она,— матерь божия пресвятая, пресветлая, помоги и спаси». Губы дрожали, она силилась вспомнить псалом «Варва-

ра — невеста Христова», но не вспомнила, вместо этого заговорила другой: «Молитеся вы, грехом тягощенные, давно я молитв ваших жду и, покаянной слезой орошенных, услышу я вас и приду...» Анька замерла, вслушалась: тихо. И все равно продолжала шепотом: «...не оставь же нас, матерь любимая, молитве тебе вразуми, с верою теплой, тебе возносимою, моления грешной прими...»

14

Степачев, увидевший в окно Шатунова и Прона, подскочил к печке, сдернул с черенка ухвата еще волглую гимнастерку, надел, перехлестнул на груди ремни портупеи. Хозяин дома Захар Шарыгин метнулся за занавеску на кухню.

Вошел Прон, нагнул голову, чтоб не задеть полатей, и так, нагнувшись, прошагал на середину горницы и выпрямился.

За занавеской скрипнула половица.

— Здорово ночевали,— поздоровался Прон.

— Милости прошу,— повел Степачев рукой, приглашая.

Прон переступил, облегчая больную ногу.

— Дом, значит, купили?

Степачев непонимающе посмотрел.

Прон объяснил:

— Дом-то Шарыгина, а встречаете вы.

— Захар Алексеич,— позвал Степачев.

Шарыгин вышел и, как будто всю жизнь ждал Толмачева, воскликнул:

— Прон Яколич! Входи! Что ты как не родной?

— Вошел уже,— ответил Прон и сел на широкую, просевшую под ним лавку.

Степачев, держась учтиво, не садясь, произнес:

— Хозяин не знакомит, сами познакомимся. Степачев.— Тут он маленько оплошал. Не успев решить, протягивать руку или нет, он все-таки сделал ею движение, на которое Прон не ответил. Но Степачев не растерялся, схватил этой рукой плотником рубленный стул за спинку, поднес к Прону и сел, как будто садился на коня.

— Вы Толмачев?

Прон поглядел на Степачева, но для начала вскользь,

захватив взглядом и Шарыгина. Шарыгин ушел за занавеску, зазвякал стаканами. Прон посмотрел на Степачева более внимательно — черные, немного седые волосы, короткий нос, крепкая шея,— и вдруг его поразило сходство Степачева с Анатолием. «Неужто родные? Да не может быть! — сказал он себе, и все равно пришла внезапная радость: если отец —сына не тронет. А я вывернусь»,— уверенно подумал он и торопливой ямщицкой скороговоркой заговорил:

— Нам ведь что, господин проезжающий, нас хоть как назови, как говорится, что в лоб, что по лбу. Что Толмачёв, что То́лмачев.— И добавил не совсем к месту: — Из хомута да под седло.— «Отец или не отец?» — подумал он.

Степачев улыбнулся.

— Нам что! — продолжал Прон.— На пряники давали бы, господин-барин, а зови хоть так. И по матушке пустят, бывало,— ничего! Из души в душу изматерят — везе-е-о-шь.

— Жена у тебя молодая,— сказал Степачев, наблюдая за Проном.

Звяканье за занавеской стихло.

— Баба-то? — шевельнулся Прон.— Ак и я ведь не старый.

— Здесь твоя женушка,— сообщил Степачев,— на тройке прикатила на муженька посмотреть.

Прон, думая, что с ним шутят, поддержал шутку:

— Вот бабы-то нынче, на лишний день мужика не отпустят. А какое ей занятие, кроме как за мужиком бегать.

— Так что́, что скажете? — Степачев откинулся.

— О бабе-то? Что о бабе? Без нее, как без помойного ведра.

— Плохо о жене думаешь,— упрекнул Степачев.— Не хотела она ехать, под локти брали.

«Неужели не врет?»— подумал Прон.

— Давай-ка, Толмачев, поговорим.

Степачев встал и заговорил четко, как диктуя.

— Я не собираюсь скрывать своих намерений. Мы идем через Малмыж, Шурму на Уржум и далее через Нолинск на Вятку. Сопротивление новой власти ничтожно...

«Похожи, похожи»,— подумал Прон.

— Мы находим понимание в трудовом крестьянстве. Население приветствовало нас... — Степачев поставил стул на место, к столу.— Приветствовало и здесь. Вышло навстречу.

— Да и от вас перед обедом был человек.

Степачев коротко усмехнулся.

— Без разведки нельзя. Что гостей не потчуешь? — спросил он затихшего за занавеской хозяина.

— В момент! — откликнулся тот и начал носить на стол.

Принес круглый, зеленого стекла, графин, три стакана, глухо звякнувшие, пучок мокрых перьев лука, хлеб. Поставил хлеб и развел руками, мол, не обессудьте, что бог послал.

Степачев ходил по избе.

— Мы спасаем Россию,— диктовал он.— Именно здесь, в Вятской губернии, мы спасаем Россию.— Он жестко прикусил папиросу, как будто умертвил ее.

Захар наклонил графин. Рывками, захлебываясь, выплескивалась брага в стакан. Стакан, наполняясь, мутнел на просвет.

«Врал или не врал про жену?» — думал Прон.

Степачев сел и, как все нервные люди, сменил настроение:

— Вятские — хитрый народ. Да и с характером, я бы сказал. Чуть задень — как палкой в осиное гнездо. Мы да мы, да Москва на земле вятичей стоит, да наши девки ноги моют, в Волге эту воду пьют. Так ведь? А?! Что молчишь! Или не поют так? Ваши девки ноги моют, а вода из Вятки в Волгу течет.

— Не слышал я, чтоб так пели,— отказался Прон.

— Может, и поют, разве все услышишь,— уклонился от ответа Захар. Он наливал второй стакан. Брага уже не булькала в горле графина, сливалась неслышной струйкой.

Степачев сощурился и опять вскочил.

«Задницу он, что ли, в седле натер?» — подумал Прон.

— Толмачев! — указал Степачев на Прона, как будто выбрал его из тысячной толпы.— Как на исповеди скажи: устал мужик? Как перед причастием!

— Поп —чужой человек.

— Как перед иконой! Ладно! Перед совестью своей! Устал?

— Есть маленько.

— Много! — Степачев снова ходил.— Беспомощность царя! Невежество Распутина! Глупость Керенского! И у власти волей случая люди, которые тоже,— Степачев чуть не кричал,— как и царь, как и немецкие фрейлины, не дают крепкому мужику жить.

«А слабому дают?» — подумал о брате Прон.

— Кто хочет, чтобы жизнью его распоряжались, чтобы... Толмачев! Чтобы твой хлеб выгребали большевики, чтобы святыни попирались. Хочешь?

— Нечего выгребать,— сказал Прон.— А распоряжателей и до них хватало.

— Защищаешь?

— Кого?

— Большевиков.

— Нет.

— Нет?!

— Нет.

— Молодец! — Степачев сел.— Прибыли на почтовую станцию, нет лошадей. Нет Толмачева, славного вятского ямщика. Нет человека, везшего надежду России — Столыпина! Нет! Где он? Где?

«Ей-богу, ненормальный,— подумал Прон.— Сын спокойнее. Да сын ли?»

— А он здесь! — Степачев показал на Прона.

«Все-таки врет про жену»,— подумал Прон.

— А лошадушек,— Степачев погрозил Прону,— распустил!

— К столу, к столу,— заторопился Захар.

— Да! — встряхнулся Степачев.— Выпьем. Выпьем за прозрение заблудших, за единение, за русского мужика, за русский штык! За пастыря над паствой.

«А кто пастырь?» — подумал Прон.

Степачев сжал в руке срезок хлеба.

— Вот за это большое дело я и предлагаю выпить.

«За какое?» — подумал Прон, а вслух сказал:

— Зачем звали-то, не пойму.

Степачев медленно выпустил хлеб из руки. Хлеб потихоньку расправлялся.

— Поговорим. Тебя Советская власть, считаю по пальцам,— Степачев стал загибать пальцы,— за срыв почтовых перевозок, за ликвидацию курьерской связи, за роспуск ямщицкой команды... Хватит? Тебя за это за-

гонят на Соловки. А то и к стенке. У большевиков это быстро. Они раз-два и... Слушаешь?

Прон кивнул.

— Я твои действия одобряю. Не ты, так, как знать, нас бы могли встретить не хлебом-солью. Я не понимаю только, зачем ты распустил свою команду. Дальновиднее надо быть. Я предлагаю: ты собираешь своих орлов и присоединяешься ко мне, как командир верхового летучего отряда. Или... присоединяешься? — Прон, хмурясь, молчал.— Тогда другой путь. Мне... нашему общему делу нужны лошади.— «Вот оно»,— подумал Прон.— Степняки. Под седло. Обозных у меня хватает. Или ты со мной, или лошади, и мы полюбовно расходимся. Третьего предложить не могу. Думай.

Прон качнул головой и заговорил, не отвечая прямо на условия, а объясняя, почему эти условия невыполнимы.

— Никакой команды у меня не было. Бунт! Экое вы слово. Пахать надо. Разве кто с ямщиками говорит, это вам спасибо, уважительно беседуете. А то садятся, ткнут в спину — пошел! Туда-сюда по тракту, и конца-края нет. Накипело. Конечно, везешь: служба, и деньги платят, а все на свою голову.

— Верно,— подыграл Степачев.— Большевики не вдаются в интересы крестьянства.

Прон, увидев, что Степачев в любом случае вывернет разговор в свою пользу, замолчал. Степачев же, думая, что Прону больше нечего сказать, хлопнул его по плечу.

— Мы прекратим подобные вещи!

— Пора, пора! — обрадовался Захар.

— Итак? — спросил Степачев.

— Лошади не мои,— ответил Прон.

— Мы дадим расписки.— «Да что расписка?» — подумал Прон.— Гарантия возврата.

— Чужим добром разве корыстятся?

— Дорогой друг-приятель, — насмешливо перебил Степачев,— не хотел говорить, придется. Вы ведь не своих лошадей увели. Сколько было их, казенных?

— Семь троек,— неохотно ответил Прон.

— Верно; не врешь, семь. Так где они?

— По деревням.

— Ты увел их у властей. Ишь, цыган какой,— кив-

нул он Захару на Прона.— Украл у государства. Другого слова нет.

— Так вы бы забрали.

— Сравнил. Частная лавочка или свобода народа. Это, я понимаю, корысть.

— Это ведь, Прон Яковлевич, для нас,— вставил Шарыгин.

— Какая лавочка? — осерчал Прон.— Я что, себе их брал?

— Я тоже не себе,— поставил точку Степачев.— Я кофе мог бы попивать, «Ниву» листать, нет, я здесь.— «Ну и листал бы»,— подумал Прон.— Давай не будем чикаться. Или лошади, или...

Прон невольно усмехнулся:

— Значит, и там и тут.

— При понятых заявляешь, что лошади отобраны мною насильно. Потерпевших Советская власть прощает.

— Я в понятые пойду,— вызвался Захар.— Бояться тебе, Прон, нечего.

— Ты отдаешь своих? — повернулся к нему Прон.

— Отдаст,— ответил Степачев за Захара.

Прон пошевелил пальцами больной ноги.

— Разве они под седло, наши лошади.

— Не ваши.

— Из сохи да в извоз. Шутка в деле! Из последних жил вытягивались, под седло!

— Не прибедняться!

— Нищеватей ямщиков человека нет, у ямщика ведь ни дому ни лому, дело известное.

Степачев смотрел на Прона, как бы говоря: ври дальше.

Прон встретился с ним взглядом. Они смотрели друг на друга: Степачев по-прежнему иронически, Прон беззащитно. Чтобы сменить выражение взгляда, Степачеву пришлось бы мигнуть, а мигать ему не хотелось. Он был уверен, что Прон отведет глаза. Только Прону ли мигать, если щурился он только от ветра да в грозу от молнии. Степачев, чувствуя, что вот-вот глаза его заслезятся, сощурился и злобно сказал:

— Ишь, сирота! Добром не отдашь, сами возьмем.— Встал, развел руками: — Молись богу.

— Где жена? — спросил Прон.

— Будут лошади, встретишься. Нет, тоже встретишься. У стены. Попа звать не будем, сам ее и соборуешь.

Прон тоже встал. Лавка выпрямилась.

— Лошади нужны к утру.

— Что же,— сказал на это Прон,— я пойду.

— Не задерживаю.

Нога уже не болела, когда он ступил на нее. Степачев сказал вдогонку:

— Я не умею шутить.

— Какие уж шутки? — ответил Прон, не оглядываясь, толчком открывая дверь. От двери снаружи отскочил Иван Шатунов.

На улице было теплее, чем в избе. Прон спустился, прошел мимо охранника.

Степачев открыл окно:

— Кстати, Толмачев, неужели тебя мой сын не убедил? Вместе ж сидели.

— Не убедил,— ответил Прон. Внутри у него екнуло, стало тоскливо и пусто.

— Жаль. Он неплохой агитатор. Мог бы отцу и помочь. Не зря же я его посылал сюда.

«Вот так вот»,— сказал себе Прон и пошагал к дому брата.

15

— Деваться ему некуда,— сказал Степачев. Снял гимнастерку, повесил досушиваться.

— Плохо ты его знаешь,— ответил Шатунов, помня, как глянул на него Прон.— Это нам некуда деваться.

Степачев отнес последние слова Шатунова на его несдержанность и все же заметил:

— С ним не выйдет, припугнем, остальные сами приведут.

— Бегом прибегут.

Степачев поморщился. Захар засновал от печки к столу. Носил и ставил: сковородку с жареной мелкой картошкой, вырванной прежде времени из земли; горшок сметаны, желтой, загустевшей сверху; чугунок с мясом, крупно и торопливо нарубленным; масло в воде, чтоб не таяло.

— Что без хозяйки? — спросил Шатунов.

— Так ведь,— заикнулся Захар,— она ведь... — ему не хотелось говорить, что жена на хуторе: вдруг Шатунов надумает поехать на хутор.— Больная она.

— В больнице?

— Боюсь, не зараза ли какая,— снова уклонился Захар.

— На хуторе она,— презрительно сказал Шатунов.— Здоровее тебя. Да хватит тебе носить.

Степачев не вступал в разговор, считая, что его не должны касаться дела, которые связывают других.

Сели за стол.

Захар ел осторожно, думая, кто же мог сказать Шатунову о хуторе, и соображая, что, кроме Якова, некому. Степачев ел неохотно, Шатунов — быстро, поглядывая на стол и хозяина.

Степачев первым отвалился от стола и прислонился к стене. Захар тотчас сказал:

— Ох, боюсь я, Прон узнает, где жена.

— Не узнает,— успокоил Степачев.— Усилить здесь охрану! — приказал он.

— Усилю! — ответил Шатунов.— Дай и ребятам поужинать. Эко без продыху маханули... Да! Что с председателем делать? Расстрелять?

Захар на верхосытку зачерпнул сметаны, съел. Облизал ложку, положил выемкой вниз. Выждал момент, осторожно сказал:

— Насчет председателя вы, конечно, решили. Меня он тоже прижимал. Только я к тому, что как бы не навредить. Может, в другом месте так бы и полезно. В общем, я в том смысле, что как-то он сумел к народу подъехать, настроил так, что за него и осердиться могут.

— Настроил — расстроим! — заметил Шатунов.— Бог за большевиков не накажет. Это не баба, о бабу я руки пачкать не собираюсь, хоть вы и выдумали через бабу на Прона подействовать.

— Он прав,— сказал вдруг Степачев.— Не ты, а он,— объяснил он Шатунову.— Нечего устраивать сцены. Уберем до утра.

— Тогда и до утра нечего ждать,— рассудил Шатунов.— Давай сегодня. И мне хорошо — новой охраны не назначать, переведу сюда часового.— Шатунов жевал и говорил: — Сейчас поем, а то с такой жизнью, как со-

бака, схватишь кусок — и в сторону. Мм-м,— вдруг замычал он, чуть не подавясь.— Вот случай, парня проверю. Этого Сеньку. Пусть он. Как, командир?

— Я сам,— сказал Степачев и прикрыл глаза. Глаза болели.

В дверь вошел Сенька, замялся.

— О! — сказал Шатунов.— На поминках, как лиса на овинках. Слушай приказ.

Степачев вскочил вдруг, заорал на Сеньку:

— На место!

Сенька, не успев сказать, зачем приходил, выскочил.

— Иван,—сдерживаясь, сказал Степачев.— Что-то ты смелый стал.

Без стука, как входят в избы в деревнях, вошел Яков. Степачев вытер глаза, посмотрел на Шатунова.

— Хороша твоя охрана! — ласково сказал он.— Хороша твоя деревенька!

— Тебя звали? — спросил Шатунов Якова.

Яков снятым на крыльце картузом утер лицо, откашлялся, сплюнул под рукомойник.

— Лошадь Пронька взял,— выговорил он.— Иди, говорит, к ним. Велели, говорит.

— Быстро твой братец за ум взялся,— сказал Шатунов.

— Необходимость, Яша,— вставил Захар.

— Ты брат Толмачева? — понял Степачев.

— Родного брата не пожалел,— добавил Яков.— Брат-от мой, да ум-то свой.

Шатунов посмотрел в окно во двор. Прон привязывал жеребца к прожилине забора. Привязка была коротка, конь дергал головой, тянулся к траве. Прон ослабил привязку. Жеребец захватил пучок мелколистного, крепкого в стебле топтуна, выдрал. Земля с корней посыпалась на босые ноги Прона.

Шатунов повернулся:

— Верно, привел.

Захар тоже выглянул:

— Это же Пронов жеребец.

— Как же, его, жди! Если я Прону ямщичить давал, так его? Со своим дороже.

— На этом жеребце Прон вез Столыпина? — спросил Степачев.— Или на отце?

— На отце.

— Ну-ка, глянем.— И Степачев, а за ним и Яков, надевший картуз, вышли из избы.

16

Захар подошел к столу.

— Времени нет по-путному поговорить,— начал он. Подсел. Подмазал: — Он вроде бы и командир, а ты с ним за равного.

— Куда он без меня? Только орать, что Россию спасает, а как до дела, так Шатунов. Мне-то что! Хоть большевики, хоть царь, хоть какой лихорад... Давно пятистенку поставил?

— В прошлом годе.

— И на отрубе дом по-зимнему?

— Только-только вздохнул, зажил по-людски, всем поперек дороги встал.

— Кому всем?

— Комиссару этому. Такие сопляки жить будут учить, конец света наступит.

— Поддобрил тебе Столыпин с отрубом.

— Хоть и хают Столыпина, а я его хвалю. Сколь бросовой земли разделали.

— Я и говорю: поддобрил,— Шатунов все мял и мял папиросу.— Дай-ка огоньку.

Захар пошел к печке, загремел заслонкой, полез кочергой в груду золы, нагребенную с пода в угол. Продолжал из-за занавески:

— Да-а. Прижал этот сопляк, ладно, думаю. Он — власть. Вдруг свой мужик на меня хуже чужого. Я говорю, Прон-то свой ведь.— Захар поддел красный снизу уголь на совок, вышел.

— А из-за чего комиссар-то прижал?

— Из-за дому.

— Из-за этого?

— Поломал бы сам хребтину, да потом бы отобрали, небось взвыл бы.

— А чего Прон?

Захар раздувал уголек.

— Прон? Я, говорю ему, чужих жен с ума не сводил.— Уголек легонько дымился, потрескивал, тускнел.— Самовар, что ль, поставить? Липового сколько-то накачал. Мал взяток, да на улазе мед едят.

Шатунов, щурясь, прикурил. Папироса разгорелась, уголек потух.

— Что он, с твоей бабой спал?

— С моей нет, с твоей, врать не хочу, не знаю,— проронил Захар, собирая мясо с тарелок и сбрасывая обратно в чугунок.

Шатунов ткнул папиросой в стол. Искры разбрызгались по столу, упали на пол.

— Ты поговоришь у меня!

Захар подскочил, притопнул искры на половике.

— А кто твою Анну вез последний раз, перед тем как она тронулась, кто?

— Та-а-к,— Шатунов пощелкал крышкой портсигара.— Ноги выдерну, не боишься?

Захар выдержал его взгляд.

— Ноги ты мне не выдернешь. В доме принимаю, коней вам отдаю, овса, разве это не в зачет? А жену твою поил, кормил, как чувствовал, что ты живой. Она без тебя потачки не давала, ее вины нет. А тебе доверился по-божески, не от лампады прикуриваешь.

Хозяин избы посмотрел в окно. Степачев и братья все еще разговаривали.

— Степачев был и нет, а ты наш, вятский, мне именно лучше тебе хорошее сделать.

— У тебя жила Анна?

— У меня. Не в горнице, конечно, но и не на мосту.

— В бане.

— Все, глядишь, в тепле спала. Не на охвостьях. Да в дом помести, сплетен не оберешься.

— Дом мой кто раскатал?

Захар, давно ждавший этот вопрос, ответил:

— Опекунский совет.

Шатунов снял ремень, свернул его тугим кольцом, положил на лавку. Ремень, как живой, дрогнул, расслабился.

— Куда увезли? — Шатунов достал новую папироску.

«Сказал Яков или не сказал? Сказал или нет? Вынеси, господи!»

— Кто их знает.

— Анна где?

— У Якова.

— Председатель, значит, добирался до моего дома?

Захар из последних сил напрягся и равнодушно ответил:

— Как не добирался. Говорил: дом дезертира надо с молотка пустить. В пользу новой власти. И Прон с Яшкой ему поддакивали.

17

Теплый и тихий к вечеру день кончался.

Степачев, как будто ничего не было до этого, расспрашивал Прона, как тот вез Столыпина.

Прон, неохотно рассказав, сам напомнил о разговоре:

— Значит, так. При вас объявляю Якову: пойдешь, чтоб к завтрему были с лошадьми.

— Отлично.

— Слышь, Яков?

Яков, которому вместо жеребца пообещали стреляную (раненую) лошадь, молча горевал. Он вздрогнул и закивал головой.

— Я и вас не держу, Прон Яковлевич. Для скорости действуйте и сами тоже. Значит, было семь троек? Как тебя? Эй! — обратился он к Сеньке. Тот подбежал.— Сколько было ямщиков?

— В два десятка складешь,— ответил за Сеньку Прон.

— Верно? — спросил Степачев Сеньку.— Язык проглотил? — повысил он голос.

— Он лучше знает, он главный над ними,— ответил Сенька.

— А чего мне ради врать-то? — сказал Прон.

— Плохо учили тебя,— заметил Степачев Сеньке.

— Никак его не учили,— сердито сказал Яков.

— Молодой, исправится,— усмехнулся Прон.

— Было у ямщиков оружие?

Сенька взглянул на Прона, буркнул:

— Не было.

— Поверим на первый случай.— Степачев повел рукой.— Прошу прощения, откланиваюсь. Вы уж, братцы, постарайтесь. В ваших интересах. Мне будет тяжело отдать приказ, вы понимаете, Прон Яковлевич, какой, но надеюсь, не придется. Зависит от вас.— Он повернулся было.

— Господин хороший! — взмолился Яков.— Можно

жеребца возьму, хоть последнюю ночь в конюшне перестоит.

— На нем и поедешь,— сказал Прон.

— Гвоздь не загонишь в копыто? — сощурился Степачев.

Яков возмутился:

— Да было ли такое, чтоб мужик коня калечил?

— Было, дорогой, все было. Возьми, разрешаю. Брат твой понравился. Большевиков не одобряет.

— А как одобрять! — торопливо высунулся Яков.— Церковь от государства отделили.

— Это как раз хорошо для церкви,— успокоил Степачев.— Большевики говорят: государство должно отмереть. Вот отомрет, а церковь останется.

Он подмигнул Якову и пошел, но не в избу, а за нее, за сарай. Часовой вытянулся.

— Приперло,— заметил Яков. Отвязал жеребца.

— Ну, Сенька,— обратился Прон,— сослужи напоследок службу. Обскачи пару-другую деревень.

— Разве ж меня отпустят,— ответил тот.— Тут дисциплина!

И хотя его обидело, что Степачев отнесся к нему как к мелкой сошке, братьям-то Сенька хотел показать, что начинает новую жизнь по своей воле и что доволен ею.

— Айда, айда,— торопил Прона Яков. Они пошли.— Нашел кого просить! Экого дуботолка. Обойдемся. Он-то обходится.

— Не будет из Прона толку.

Степачев вздрогнул от неожиданности и повернулся. Шатунов стоял у начала грядки, из которой просекались первые всходы.

— Не будет,— спокойно ответил Степачев.— Не наш человек. Пахать собирается — смеху подобно. Не будет лошадей — вывод ясен. Ему и от Советов не сносить башки. Связь прервал, ямщиков взбунтовал, лошадей отдал врагу Советской власти.

— Не отдал еще.

— Отдаст. И пусть пашет.

— На ком?

— Новое дело! — Степачев вырвал гнездо молодого лука, ударил пучком по хромовому голенищу, стряхнул землю.— Тебе-то что! На себе!

— Мне-то что,— хмуро повторил Шатунов.

— Ваня,— дружелюбно сказал Степачев,— я тебя понимаю. Здесь твоя деревня, оттого и делаю все тихомирно: терять тебя не хочу. И ты меня не теряй. Я ж вижу, пошатнулся ты.

Шатунов смотрел на мошек-толкунцов, мельтешащих над кучей навоза.

— С председателем будешь говорить?

— Послал за ним?

— Послал.

Степачев вздрогнул, то ли от прохлады, то ли от нервного ожидания встречи с Анатолием.

— Я один с ним поговорю. Идем?

— Сейчас. Ты иди,— отозвался Шатунов.

Степачев ушел. Шатунов понял, что то, что он думает, ему некому сказать. Думал он о пустыре на месте своего дома, о сумасшедшей жене. Теперь служба у Степачева казалась ненужной, тягостной, ничего не сулившей. А так как все последнее время он только ею и занимался, она стала его жизнью. И то, что она бессмысленна, он начал понимать только здесь. А как жить? Не у кого было искать совета. Ни с Захаром, ни с Проном ему не о чем было разговаривать. Прон с малолетства был в извозе, Захарка всегда с отцом на трехпоставной мельнице, а он, Иван, вечно торчал у этапной. Гнали по тракту часто, все больше уголовников, бритоголовых, бородатых мужиков. Были они веселые, весело матерщинничали, делились друг с другом и с конвойными тем, что им подавали из жалости. Иван крал для них яйца, и старался украсть побольше. Раз он хотел дать яиц политическому и похвалился, что спер яйца у матери. Политический яйца не взял, сказав, что красть нехорошо. Уголовники захохотали над ним, посмеялся и Иван. И больше к политическим не подходил, считая их дураками. Как же ругать воровство, если все крадут? Потом, когда сам Иван был на каторге, он увидел, что как раз политические-то дружнее уголовников: уголовники из-за куска хлеба, из-за удобного места на нарах могли зарезать. Но все равно Иван злобился на политических, считающих воровство нехорошим, но судимых наравне с ворами и бандитами.

Степачев, проходя мимо охранника, бодро спросил:

— Ну, как?

— Так точно! — ответил охранник.

— Что из дому пишут?

— Ничего не пишут, баба неграмотная, а криком не достичь,— отрапортовал охранник, не меняя вытяжки.

— Ничего, ничего,— успокоил Степачев.— Кончим — и сразу к ней.— «Что кончим?» — подумал он.

— Слушаюсь,— ответил охранник, угадывая, что можно без опаски расслабиться перед начальством.

— Корова есть, сметана своя? — говорил Степачев, злясь на себя за начатый пустой разговор.

— Есть-то есть,— сказал охранник и полез чесать затылок, превратясь сразу из солдата в мужика.

Степачев понял, что теперь начнутся обычные жалобы на жизнь, выслушивать которые он устал, а уничтожить их причину оказывался не в состоянии.

— Как думаешь, вёдро будет? — спросил он.

Охранник посмотрел почему-то на хромовые сапоги Степачева, потом на небо.

— Что бог даст, так и будет.

18

Жеребец потянул к колоде, из которой степачевцы днем поили лошадей. Яков поддался жеребцу и свернул.

— Дома напоишь,— посоветовал Прон.

— А что, разве здесь вода отравлена?

— Пои,— отозвался Прон. Сел на колоду и смотрел, как Яков отцепляет ведро и перебирает веревку. Ведро шлепнулось дном в воду, Яков дернул веревку на себя, подсек ведро. Подождал, пока ведро утонет. Противовес журавля задрался выше деревьев. Ведро вынырнуло до середины и снова погрузилось. Вода в колодце тяжело качнулась. Яков, стараясь не задеть венцов сруба, потянул ведро вверх.

Вылил ведро в колоду. Жеребец загремел мундштуком. Яков снова, кланяясь, погнал ведро в глубину.

— Чего на мокром сидишь?

— Не сдохну.— Прон пошевелился, хлопнул жеребца по ноге.— Наденут тебе краденую уздечку, и будешь ты узда наборная, лошадь задорная. Эх, Яшка, Яшка,— как меня захомутали!

— Какая власть, такая и масть.— Яков вылил второе ведро.— Не здесь, так на станции бы прижали.

— Там бы я не один был.
— И что? Все равно бы их верх.
— Посмотрел бы.
От избы напротив подбежал к ним мальчишка с ведром, босой, в белой рубашке.
— Дядь Яша, достань водички.
— А мать чего сама за водой не ходит?
— Боится сегодня, а вас увидела, меня послала,— ответил мальчишка, ласково глядя на коня.— Поят! — сказал он знающим тоном,— поят, называется, жеребца, а мундштук не расстегнули.
Он ловко выдернул из кольца мундштук. Жеребец отфыркнулся и продолжал пить. Мальчишка обобрал репейные головки с ног жеребца. Яков тем временем достал воды и налил мальчишке неполное ведро. Остатки выплеснул, но не в колоду, а мимо.
— Неси.
— Дядь Яша, дай съездить искупать.
— Дам, дам.
— Правда? — обрадовался мальчишка.— Я вымою — заблестит. Дядь, а я присказеньку знаю, сказать? Прошла зима, настало лето, спасибо бабушке за это.
— Иди, иди,— сказал Яков,— спать ложись.
— В эку-то рань? Правда, дашь коня искупать? Завтра?
— Завтра. Иди.
Мальчишка взял ведро и пошел.
— Смотри, не обмани.
От дома он повернулся и крикнул:
— Спокойной ночи, спать до полнóчи, а с полнóчи кирпичи ворочать,— и засмеялся.
Жеребец допил воду и стоял смирно, ждал еще.
— Хватит,— сказал ему Яков.— Не ехать бы, еще бы дал. Пошли?
Прон сидел молча, даже от комаров не отмахивался.
— Прон. Слышь, Прон,— разве я тебя виноватю? Разве от нас зависит. Коня просит парнишка купать, а кого он завтра поведет? Прон, да очнись! Как будто впервой. Изъян ведь всегда на крестьян.
Прон так громко и горестно вздохнул, что жеребец прянул, звякнул уздой.
— Эх, Россия-матушка,— произнес Прон и встал.— Россия ты матушка, души моей мать! Как тебя, Яшка,

ни бей, как над тобой ни изгаляйся, не взъяришься. Лошадь ведут — бери, жену у меня заперли — молчу, землю отрежут — пеньки корчуешь, да еще радуешься: живешь! А как живешь? Как не подохнешь от такой жизни?

— А подохнешь — и думать некогда,— поддакнул Яков.— Закрыл глазки да лег на салазки.

Падала роса. Влажнела трава. Промытое небо бесшумно горело закатом. Слепым белым цветом подернулись лужи.

От конторы послышались голоса и стихли.

— Не болит нога-то? — спросил Яков.

— Ничего.— Прон посмотрел на пустую улицу.— Как мужик не поймет, что он первый человек. Ты, Яшка, все мудростью бьешь, мол, отцы так говорили. Говорили: хлеб всему голова?

— Как же! Хлеб — хозяин, закуска — гость.

— Хлеб — голова, значит. А мужик чем думает? Я тоже, ума не хватало, говорил сначала — не троньте мужика, дайте ему пожить. А что же его не трогать, и кого еще трогать, если дери с мужика шкуру, он терпит.

— В бога многие не верят,— вставил брат.

— Дерут и с верующих,— успокоил Прон.— Э, да не о том я.

— Я поседлаю, да и с богом,— решил Яков.— Ты тут будь.— Видя, что Прон хмур по-прежнему, посоветовал: — А ты не колотись за всех-то, а то доколотишься.

— Я теперь думаю, раз так все вышло вперехлест, самый момент мужикам за ум взяться. Да, вишь, как со мной-то повернулось.

— Обойдется, даст бог.

— Получается, что из-за моей бабы людей обидят. Как мне глаза после этого поднять? Разве что глаза выколоть,— тоскливо сказал Прон,— слепым ходить. Так ведь в лицо плюнут. А уйти куда, так я не уйду, куда я без Вятки денусь.

— Что ты в самом деле! — рассердился Яков.— Поймут люди.

— Хрен-то,— только и сказал Прон.— Нет уж, так давай сделаем. Ты для страховки уезжай куда знаешь. Пересиди. Не век тут им быть. Меня пусть,— Прон махнул рукой,— не велико горе. Матери нет, некому слезы лить. Жена молодая, найдет... ты присватайся. Черт! — оборвал он себя.— А где зарок, что ее пощадят!

— То-то,— сказал Яков,— мелешь языком не знай что.

Мимо колодца охранник провел связанного Анатолия. Прон отвернулся.

19

Срезая углы тропинок, шагал к братьям Шатунов. Сапогами он ошаркивал уже созревшие мокрые метелки конского щавеля. Разошелся с председателем. Шагнул через сточную канаву на дорогу и, вминая подошвы в песок, приблизился. Песок прилип к головкам сапог, смешался с цветочными семенами. Шатунов топнул поочередно сапогами, сбил и песок и семена.

— Поговорить надо, Прон Яковлев,— сказал он.— Ты извини, Яков, дело мужское.

— И он не баба.

— А чем я мешаю? — спросил Яков.

Шатунов молчал.

— Иди, Яков,— отослал Прон брата.

Яков взял жеребца за повод, потянул. Жеребец, вздрагивая ляжками, двинулся за ним.

Прон проводил взглядом брата, повернулся к Шатунову. Тот мотнул головой.

Они шли деревенской улицей, которой тысячи раз ездил Прон. Он подумал, что редко ходил по ней пешком, только когда жена была в девках.

«Да и много ли я с ней ходил? — подумал он.— Затянула ямщина, как собаку в колесо». Сколько он помнил, почти всегда спал одетым. Ночь-полночь, стук в окно: запрягай! Сыт или голоден, кому какое дело! Мерзнешь, выпьешь на станции шкалик, рукавом утрешься, и айда — пошел дальше. Жена появилась — стало хорошо. Прон и выпивать-то почти перестал, все к ней торопился. «Полгода и пожил-то»,— подумал он.

Они шли рядом безлюдной улицей. В эту весну мало ездили по ней, трава наступала с боков, год не поезди — зарастет. Свернули в проулок. Со стороны глядя, можно было подумать, что идут два мужика в лес за дровами или траву косить. Только странно, что вместо литовки и топора у одного наган, у другого ничего.

Вышли за деревню. От земли тянуло теплом. В низинах копился туман, выползал на взгорье. Взгорье бы-

ло изрезано на наделы. Некоторые были засеяны, другие пестрели лебедой, вьюнками, те, что пониже, купавками. Овсы уже мешались: посреди зеленого желтели лоскутья созревающего.

Шатунов спросил:

— Если я в деревне останусь, то как?

— Никак,— ответил Прон.— Оставайся.

Шатунову больно стало от того, что он всегда везде будет чужим, но боль тут же заменилась привычной злобой.

— Стой! — приказал он. Голос его прозвучал хрипло. Шатунов отхаркнулся.— Ты, как знал, босиком шел. Я разуваться заставлял.

— Вон что,— сказал Прон.—Что же вы тогда сколько времени хреновину пороли?

— Я тебе объяснять не собираюсь, а только одно скажу напоследок: за Анну и за дом не прощу.

— Эх, Ванька,— устало сказал Прон.— Тебя наууськали, ты поверил. Ты бы людей спросил, а не Захарку.— И спокойно добавил: — Не тяни, злобу растеряешь.

— Крестись.

Прон усмехнулся.

— Беги!

— Не побегу.

— Торговаться будем? — спросил Шатунов, вытаскивая из кобуры маузер.— Торговаться не будем. Ты побежишь!

— Нет.

— Трусишь?

— Нога болит.

После паузы, во время которой Шатунов думал, что ответить, Прон сказал:

— Бежать не побегу, а пойти пойду.

Он пошел назад в деревню, ожидая, что Шатунов выстрелит. Но было тихо. Прон не выдержал и повернулся. Он думал, что ушел далеко, но Шатунов стоял рядом.

— Трудно? — спросил Прон.

— Боишься: спина мокрая.

Прон плечами потянул рубаху. Рубаха липла к коже. Низовой ветерок холодил ноги. Теперь он понял, что действительно его могли убить. Он почему-то подумал о жене. Вспомнился сегодняшний день, но бессвяз-

но, обрывками. Прон сел на землю, поставив грязные ступни в межу: «Никуда я не пойду»,— хотел сказать он, но и это не сказал.

Шатунов переступил на месте.

— Тебя и без меня ухайдакают,— с ненавистью сказал он.— Сиди, сиди, дожидайся.

Он пошел в деревню. Старался идти размеренно, но так как шел под гору, то невольно ускорял шаг. Подгоняя, его била по ляжкам деревянная кобура.

Прон не шевельнулся. Божья коровка всползла к нему на ногу, хотела лететь, развела в сторону твердые скорлупки красного в черных точках панциря, выпустила желтые мятые крылья, но взлетать раздумала, согрелась теплом человеческого тела, притихла.

20

— Развязать! — приказал Степачев.

Охранник развязал руки Анатолию. Веревку взял себе.

— Свободен,— сказал Степачев.

Охранник повернулся, каблуками забуровил половик, вышел.

Степачев прошелся, расправил половик. Анатолий тер красные запястья.

— Здравствуй, комиссар.

Анатолий промолчал. Он заметил, что отец крепко сдал. Злобы не было в Анатолии, откуда ее взять на родного отца, но и жалости не было.

— Итак,— сказал Степачев,— твои убеждения незыблемы. Отец — враг Советской власти, значит, твой враг. Объяснять тебе, что эсеровская программа земли, которую мы выдвигали в августе семнадцатого, уворована большевиками, тоже глупо. Ты молод — чужие взгляды стали тебе привычными, привычка перешла в убеждение, убеждение стало философией. Если бы в свое время я оказывал на тебя влияние, ты был бы со мной.

— Нет.

— Был бы. И будешь. Далее: правота моя безусловна — на земле должен быть хозяин. Этот хозяин всячески угнетается вами и отрывается от своего дела. Естественно, вы не хотите этого, но положение ваше безвыходно. Отчего? Вы, милые люди, не хотели государства.

Вы сломали его, получается, для того только, чтоб создать новое государство. Назови его бесклассовым, хоть чертом назови, но в нем останутся: власть, армия, налоги, милиция. Я удивляюсь только, как легко вам удается обдуривать народ. Но ведь до поры до времени. Впрочем, оставим: пустое. Интересно, много ли удалось тебе в должности председателя?

— Почти ничего.

— Значит, все-таки стыдно обманывать. Видимо, и ты понял, что дать землю, а после насильно отнять урожай с нее — это та же форма барщины, только барин красиво назван — народная власть. При царе рекруты хоть жребий тянули, а вы гребете всех подчистую.— Хотя Анатолий молчал, Степачев отлично видел и чувствовал реакцию Анатолия на его слова.— Я вижу, ты не согласен со мною.

— Интересно, на что ты надеешься? — спросил Анатолий.

— Ого! — сказал Степачев.— Забавно. Ты замечаешь, что мы говорим как чужие? Что ж молчишь?

— Ты обречен.

— Лично я, может быть. Но не во мне дело. Земля тому, кто ее обрабатывает, говорили вы. И вы действительно дали землю, но забыли добавить, что не только земля, но и плоды ее принадлежат тем, кто обрабатывает. Маленькая добавка, а побороться за нее стоит. Как ты думаешь?

— Это тебе надо думать.

— Ну, мой дорогой, ты однолинеен, жизнь противоречива. Ты веришь в диалектику, количество ваших мероприятий должно привести к качественному сдвигу. Мероприятия ваши бесчеловечны, значит, безжизненны. Жизнь опровергнет диалектику — некачественное количество не перейдет в качество.

— Я отнимаю у тебя время,— сказал Анатолий. Он так и не садился.— Ты ни в чем не убедишь меня.

— Пожалуй. Ты не этот ямщик.

— В чем ты его убедил?

— Мы вчера попросили его, он прикрыл станцию, заморозил почту. Сегодня попросили, он дает почтовых коней.

— Врешь! — Анатолий вспомнил: когда он шел сюда,

Прон от него отвернулся.— Ты врешь. Но от меня ты ничего не дождешься. Прикажи увести меня.

— Куда? Комиссаров я не отпускал. Их в конце концов не так уж много. В самом деле,— говорил Степачев, наблюдая за бледнеющим лицом Анатолия,— если убеждения сильнее жизни, умереть просто. У меня, например, убеждения таковы, что за них могу пожертвовать всем, даже тобой. Но у тебя есть право выбора. Тебе, наверное, хочется подумать?

— Хочется,— сказал Анатолий.

Степачев распахнул дверь:

— Увести!

Охранник пропустил Анатолия, на ходу связал ему руки. Шатунов встретился в дверях.

— Еще жив? — спросил он.

Степачев вытер лоб, выпил воды.

— Председателя не убивать,— сказал он Шатунову.— Понял? Устроить театр, дать прочувствовать. И снова ко мне.

Шатунов усмехнулся:

— Прикажу.

21

Яков во дворе кормил жеребца.

— Эй,— крикнул Сенька, входя.— Эй, слышь?

— Эй — зовут лошадей,— сердито ответил Яков.— Да и то не всех.

— Запрягай в тарантас.

— Навозную телегу тебе жалко, не то что тарантас,— сказал Яков со злостью. Но злость была не на Сеньку, не Сенька отнимал у него жеребца, но тот же Сенька, переметнувшийся к Степачеву, мог завтра с утра сесть на этого жеребца.

— Запрягай, запрягай,— не снижал тона Сенька.

— Мне ваш начальник коня вернул. Иди, спроси.

— Шатунов меня послал. Сам спроси. Иди, иди,— велел Сенька и объяснил: — Председателя подбросишь.

Яков испытал вдруг странное облегчение, но все-таки сказал:

— Мне самому ехать надо, приказ объявлять.

Сенька был, как определил по запаху Яков, выпивши.

Охранник, узнавший Сеньку, спросил:

— На смену?

— С приказом — председателя забрать. А тебе к штабу караульщиком.

— Куда, куда?

— Никуда! Степачев где остановился, к этому дому.

— Так бы и говорил,— ответил охранник.— Не врешь?

— Была нужда.

— Бери: не велико добро.— Охранник вынул замок из петли, отбросил загремевший засов.

Анатолий стоял сбоку от входа.

— Выходи, начальник,— велел Сенька.— Приказ тебе.— Он достал бумажку, протянул, но руки Анатолия были связаны, и Сенька сам развернул бумажку. Анатолий прочел: «Охране выпустить с подателем испод замка перети пост баня Шатунов».

— Это не мне, это ему,— сказал Анатолий.

— Я неграмотный,— сказал охранник.— Пишут, такпереэтак, и не спросят, прочту или нет.

— Я тебе на словах сказал,— оборвал его Сенька.

Яков выкатил передок, обмазал шкворень колесной мазью. Охранник закинул за плечо мешающую ему трехлинейку, подскочил, подхватил тарантас, подвел снизу передок, сровнял. Яков засунул шкворень.

— Ловок,— одобрил Яков охранника.

— Дело знакомое,— засмеялся тот.

Яков вставил мундштук в пасть жеребцу. Жеребец неохотно принял железо, пожевал губами. Яков запятил жеребца в оглобли. Сенька застеснялся того, что один человек при трех мужиках стоит связанный. Хотел развязать, но при охраннике не хотелось, и он поторопил:

— Ты иди, куда приказано.

Яков взял простую дугу, но уж очень неподходящей была такая дуга к тарантасу и жеребцу. Взял со стены другую, расписную, с колокольчиком. Подумал, обмотал колокольчик тряпкой, затянул узел.

— Дай хоть запрягчи помогу,— хмуро попросил охранник, признавая в Сеньке старшего,— сколь времени за хомут не держался, все верхами.

— Да я уж запрег,— заметил Яков. Вытер клочком прошлогоднего сена запыленную обивку сиденья.

Охранник помедлил еще и ушел в распахнутые настежь ворота.

— Куда кто сядет? — спросил Яков.

Сенька развязал руки Анатолию, подтолкнул к тарантасу. Сам зашел с другой стороны, сел рядом, бросил в передок веревку. Яков разобрал вожжи, шлепнул ими жеребца по спине. Жеребец выкатил тарантас на улицу. Сенька сказал:

— Побежишь — убью.

Анатолий застегнул китель. Переехали тополиную хрустнувшую ветвь. Крикнула птица. Был тот предвечерний час, о котором сказано, что человек в это время слышит далекий звон и ему кажется, что плачет умирающий день.

Тарантас покачивался, колеса дергались на выбоинах.

Проехали мимо конторы. Горел костер. У винтовок, составленных в козлы, и у пулемета, накрытого брезентом, сидели двое степачевцев, оба пьяненькие. Они любовно смотрели друг на друга. Один пел:

Когда мать меня рожала,
Вся полиция дрожала...

— Вася,— кричал другой,— Вася, подголоси,— и все пел одну строку:

За что я кровь мешками проливал?

— Пр-ральна! — соглашался первый и, помахивая для равновесия рукой, пел дальше:

...а отец ворчал сердито:
— Родила опять бандита!

Трезвый караульный качал на них головой. Он увидел Сеньку и показал, мол, проезжай, знаю.

Яков осуждающе крякнул. Анатолий смотрел вверх, под козырек крыши — провода телефона были оборваны.

Пьяные отрядники наконец наткнулись на песню, которую оба знали.

Как на кладбище... —

завел один, и другой тут же взревел:

Митрофановском!
Отец дочку зарезал свою...

Сенька спросил:

— Так и будем тащиться?

— Э! — крикнул Яков жеребцу и взмахнул свободным концом вожжей.

Жеребец для виду влег в хомут, но хода не убыстрил.

— Не больно-то расторопится,— одобрил Яков.— Чувствует, что последний раз с хозяином.

— Что так? — спросил Анатолий.

Яков хотел объяснить, что жеребца отнимают, но Сенька не дал, ткнул в спину.

— Эх, мать-перемать, не по-матерному!

Жеребец зарысил, но все равно берег силы. Сенька встал за спиной Якова, выхватил из передка веревку, которой был связан Анатолий, раскрутил над головой. Жеребец рванул в скок. Сенька упал на сиденье, придавив Анатолия. Веревка хлестнула по Якову. Яков ругнулся, сдержал жеребца, перевел галоп на быструю рысь. Частоколом замелькали березы.

Сенька оглянулся. За ними не ехали. «Все равно ведь проверит, точно, проверит»,— подумал он о Шатунове.

Жеребец вошел в норму привычного бега, хомут не ерзал, оглобли стояли ровно, ступицы легко крутились на смазанных осях. Корки пыли, как льдинки, ломались под колесами, два пыльных ручейка стекали с колес и бежали за тарантасом.

— Так что? — Анатолий повысил голос.— Лошадь, значит, забирают?

— Это и есть,— крикнул Яков.

— Не разговаривать,— оборвал Сенька и не к месту гаркнул:

Мамка рыжа, тятька рыжий,
Я женился, рыжу взял.
Рыжий поп меня венчал,
Рыжий мерин свадьбу мчал.

— Сам-то хоть женат ли? — крикнул Яков. Тарантас потряхивало.

— Один.

— Чего?

— Нет, говорю. Один, как клоп.

— Лоб?

— Клоп!..— Сенька добавил матерное слово.

— Чего? — все-таки не понял Яков.— Что, поп?..

— Иди ты!

Сенька чувствовал, как выдувает из него хмель. Быть трезвым ему не хотелось. Наоборот, потом хорошо бы

верить, что все сделанное было сделано в пьяном, неподсудном Сенькиной совести, состоянии.

Анатолия знобило. Ветер, равный скорости бега жеребца, продувал его.

— Чего брат-то от меня отвернулся? — крикнул он Якову.

— А! — ответил Яков с досадой, отмахиваясь рукой.

Жеребец прибавил рыси.

Мягкие легковые рессоры подкидывали седоков.

22

Низовой ветерок качнул ветку полыни, ветка коснулась щеки Прона. Прон зажал ветку в кулак, обдернул ее. На ладони остались матовые узкие листья и молодые семена. Прон поднес ладони к лицу, как подносят их, когда умываются. Вдохнул горький лечебный запах.

«Как конопля»,— подумал он и поднял голову.

Вятку затапливало туманом. Еще оставались чернеющие прогалины чистой воды, но и над ними протягивались белесые полосы.

Солнце село. Заречные заливные луга утонули в белом. Небо вдали темнело, сливалось с неразличимым отсюда сосновым бором. Ближе, на тракте, стояли четкие черные березы. Свободно опустили они свои ветви, и не было на них тесно ни одному листку.

Прон увидел и узнал вначале жеребца, потом брата на тарантасе. «Успел уж куда-то съездить»,— подумал Прон. Крикнул, его не услышали. Тогда свистнул, как давно не свистел, по-ямщицки разбойно. Жеребец встал, как споткнулся. Хомут полез на уши.

Яков увидел, как со склона бежит, хромает брат, бросил вожжи, кинулся навстречу. Взглянул в сторону деревни, никого не увидел, закричал:

— Повел ведь этот леший, галах приблудный, заразы кусок, председателя-то повел. Туда, туда,— показывал он рукой, откуда ехал.

Прон мотнул головой, не остановился. Выскочили на тракт к тарантасу. Прон схватил вожжи, натянул одну, упираясь ногами. Жеребец задрал голову, осадил, повернулся почти на месте. Тарантас завалился. Прон ухватился за заднюю ось, одним рывком закинул тарантас, крикнул: «Садись!» — запрыгнул и сам.

— Пошел! — заорал он.— А, пошел! А ну, пошел! И-эх!

Жеребец втянул живот, взялся в карьер. Яков, неловко барахтаясь, выровнялся.

— Вначале, говорит, на пристань. Я так и думал,— кричал он.— У лесной повертки велел остановить. Неладно, думаю. Скорей за тобой.

— Ага! Ага! — кричал Прон. Он стоял в тарантасе в рост, подсвистывал, подергивал вожжи. Щелкала за спиной выпущенная из брюк рубаха. Жеребец наддавал. Пыль не успевала подняться за колесами.

— А-а-а! — орал Прон.— А-а! Милая, любезная! А ну давай! А ну давай! А ну давай!

Страшно, будто отрываясь, екала селезенка у жеребца.

Мелькнула невысокая, уходящая в землю, кирпичная екатерининская верста. Впереди у леса обозначилась другая.

Влетели в прогал, высеченный сквозь лес для тракта. Сплошняком полетели назад темные стены деревьев.

— Тут! — заорал Яков.

Прон осадил и свернул. Жеребец испуганно подобрался, скакнул через кювет, тарантас качнулся, хрустнул, выдержал. Ударенные дугой ветки хлестали по лошади, по братьям. Храпел жеребец. Стучали по корням колеса.

Прон успокоил жеребца, нагнулся к брату.

— Кричи своим голосом.

— Выстрелит,— испугался Яков.

— Кричи, кричи.

Яков закричал:

— Бакшаев, Бакшаев, стой! Сказать чего надо. Бакшаев! Бакшаев!

...Стоит надрывный режущий свист, похожий на стеклянный дом. Анна боится, но ее зовут, машут цветными платками. Анна входит, сразу глохнет и в тишине идет среди наряженок. Они прыгают, крутятся, подманивают к оврагу. Там забава — катают по склону глиняные раскрашенные шары. Шары сталкиваются, беззвучно разбиваются. Внизу сверкучий ручей моет разноцветные осколки. Анну толкают в спину. Мужик в фартуке поворачивается, схватывает голову с Анны и пускает с обрыва

Голова катится, испуганно закрывает глаза, но все-таки глаза видят, как вверху, на обрыве, с Анны снимают еще одну голову, потом еще одну, еще... Головы катятся друг за дружкой, падают в ручей, плывут по течению...

Брызги прозрачной воды на ее лице. Анька-дурочка вот-вот проснется.

...Построили Анне новый дом. Священник обходит его вокруг, окропляет с веничка Анниными слезами. Всходит Анна на крыльцо, кланяется народу. Мужик в фартуке ребром ладони подрубает упоры, и дом начинает скользить по полозьям к реке. Анна боится спрыгнуть с крыльца. Дом сходит на воду и тонет. Тонет и Анна вместе с домом, захлебывается... просыпается.

Проснулась Анька-дурочка и заснула спокойно, без снов.

23

Они успели, Сенька еще не убил председателя. Он вел его впереди себя. На крики Якова остановились оба. Сенька ступил в сторону, чтоб видеть и председателя и Якова.

Прон пригнулся за жеребца, подъехал с правой стороны. Яков выскочил слева.

— Чего? — спросил Сенька.

— Не успел я тебе сказать... велели тебе передать...— говорил Яков.

— Отдышись,— сказал Сенька.

Прон вынырнул из-под брюха жеребца, ударил Сеньку, сшиб на землю.

— Дай сюда! — велел Прон.

— Ты не знаешь, я не хотел,— закричал Сенька.

— Ну!

Сенька отдал наган.

— Часы отдай.

— Какие? — заикнулся Сенька.

— Ну!

Сенька отдал часы. Сел.

— Не вставать!

Подошел Анатолий. Прон отдал часы и наган Анатолию, вернулся к тарантасу, взял вожжи и кнут. Вожжи сложил вчетверо, бросил на козлы. Подошел, размахнулся тонко свистнувшим кнутом и хлестнул им по плечево-

му шву Сенькиного полушубка. Кнут впился в кожу, обвил рукав. Прон дернул кнут на себя. Рукав отвалился. Прон переступил, примерился, хлестанул с оттяжкой по другому рукаву, и второй рукав отпал.

— Хороши ножницы? — спросил Прон, бросая кнут.

Сенька беспомощно развел руками. Рукава полушубка поползли вниз, открывая тонкие на взгляд руки. Прон взял с козел вожжи, крутанул в воздухе (жеребец испуганно косился) и ударил Сеньку по лицу. И ударил второй раз по проступившей на лбу и щеке белой полосе. Сенька завыл, пополз на животе к Прону. Прон оттолкнул его ногой.

— Хватит,— сказал Анатолий.

— Жалельщик! — сказал Прон.— Тебя кто жалеет? Тебя отец пожалел?

— Какой отец? — спросил Яков.

— Председателя,— ответил Прон.

Сенька поднял избитое лицо. Анатолий сел в тарантас. Яков завернул жеребца.

— Ты! — сказал Прон.— Жена моя где?

Сенька провел по лицу ладонью, поглядел на ладонь и отер ее о траву.

— Я говорю: где жена?

— Ни сном ни духом!

— Добавить?

— Святой крест, истинна икона, не знаю.

— У Шарыгина?

— Вроде так.

— Или врешь?

— Ты думаешь, если я с председателем шел, так убил бы? Убил бы, да, думаешь?

— Прон,— окликнул Яков.

— Поехали,— поторопил Анатолий.

— Сучонок ты,— сказал Прон Сеньке. Бросил вожжи.— На, на осине повесишься. Человека хотел из тебя сделать. Сволочь ты неумытая.

— Подожди,— сказал Анатолий Якову. Достал наган, взвел ударник. Сенька помертвел.

— Плюнь,— сказал Прон.— Пусть в другом месте сгинет.

— Может, этого выстрела ждут.

— Эй,— спросил Сеньку Прон,— проверят тебя? Да

не умирай раньше смерти. Ну, зараза, за одну трусость убил бы. Пальни.

У Сеньки отнялся язык.

Анатолий выстрелил, но почему-то не в воздух, а в землю. Жеребец всхрапнул и рванул так, что на вершок съехали гужи по оглоблям.

— Не приученный к пальбе,— сказал Прон.— У них лошади, видно, наслушались выстрелов. Днем, когда в клеть жиганули, ни одна не заржала.

— Поехали.

Когда они отъехали, Сенька пошел в другую сторону, дальше в лес. Но лесная дорога растворилась в зарослях, ветви больно секли избитое лицо, комары льнули к крови. Сенька повернул. По дороге поднял и отбросил в кусты вожжи.

Ехали молча. Колеса вминали молодой мох, в следах колес проступала вода. Задетые папоротники показывали рябую изнанку тонких вырезных листьев. Жеребец мордой совался в кусты, спасался от гнуса, встряхивался, охлестывал ноги хвостом. Яков удерживал жеребца, хлопал себя по шее.

Доняло и Прона. Он перегнулся, на ходу сломил ветку березы: «Попаримся!»

Тряпка на колокольчике размоталась, колокольчик звякнул. Яков тпрукнул, соскочил с козел, подбежал к дуге.

— Растрясло,— сказал он. Поискал глазами, да где ее в темноте найдешь.— Дайте какую-нито тряпку ботало обмотать.

— Наплюй,— сказал Прон.— В своем-то лесу! Греми на всю ивановскую.

— Загремишь! — отозвался Яков. Зубами отвязал кончик ременного кнута, прихватил язык колокольчика.

— Куда вы ехали? — спросил братьев Анатолий.

— Лошадей для них собирать,— ответил Яков.— Я ж говорил тебе: и этого отнимают.

Выехали на тракт. Комары отстали. Жеребец остановился.

— Куда? — спросил Яков.

— Направо,— ответил Прон.— В Шурму.

Анатолий выпрыгнул из тарантаса.

— Не по пути.

— А,— сказал Прон.— Обратно в деревню пойдешь? К папаше. Иди.— Он тоже вылез и стоял, держась за сиденье.

Уже плохо различались лица. Но всходила луна, небо было чистое, и темно было только в лесу.

До Якова запоздало дошло: отец-то Анатолия — этот Степачев. Он ахнул про себя.

Анатолий приблизился.

— Прон,— сказал он.— По гроб и после него я твой должник. Только ведь ты со мной не пойдешь.

— Не пойду. А отцу передай насчет лошадей — шиш без масла.

— Неужели ты думаешь, что я вернусь к человеку, который велел меня расстрелять?

— Я ваших дел не знаю. Только делились бы вы где подальше, а не здесь. Иди, Толя, куда хочешь. У тебя свое, у меня свое.

— Прон, все твои дела касаются меня.

— Верю на первый случай,— сказал Прон.— Только есть другое — он сказал, что привезли мою жену. Врет?

— Не знаю.

— Я сейчас хотел скатать до Шурмы, проверить. Если узнаю, что жена на месте, поехал бы с тобой. Садись.

— Надо быстрее в Уржум. Там наши. Нет,— значит, в Нолинске.

— А как через деревню?

— Обойду.

— Крюк.

Анатолий спросил:

— Допустим, жена на месте. А если нет?

— Если здесь, тогда по деревням, помогай Прону!

— Откликнутся?

— Должны,— не сразу ответил Прон.

— Сколько? — добивался Анатолий.— Десять? Двадцать? С чем? С вилами? На кого? На пулеметы? Из-за кого? Из-за женщины?

— Вот то-то и оно-то,— ответил на все вопросы Прон.— Давай, Толя, добром простимся. Мне один конец, а лошадей он хрена с два получит.

— Решил! — насмешливо сказал Анатолий.

— Председатель! — озлобился Прон.— Ты молодой, ты к нам не приважен.

— Об этом мы говорили днем,— оборвал Анатолий.— Значит, пошел бы со мной, если бы был спокоен за жену? Со мной, то есть против Степачева.

— А чего они не поделили? У Степачева свое, у Прона свое,— высказался Яков. «Это ведь до какого сраму надо дойти, чтобы сын на отца, отец на сына»,— подумал он.— Чем вам Степачев-то не по губе? Мало ли кому что нужно, да я и лошадь и последнюю рубаху отдам, чтоб они ушли.— Яков все время поглядывал вправо и влево.— И сам уйду. Ей-богу, в кержаки, в староверы, двоеперстие, прости меня господи.

Тоскливо было Якову. Хотел он напомнить председателю, что утром читал: «...дондеже имамы время, попечемся о единородных своих...», да не стал.

— Столкновение со Степачевым неизбежно, надо ускорить его,— жестко заговорил Анатолий, и Прон заметил в этой манере отрывисто говорить, как диктовать, сходство Анатолия с отцом.— Надо ускорить его. Гарантия победы стопроцентная.

— Толя,— прервал его Прон.— А ведь и вы лошадей потянете.

— Мужики! — взмолился Яков.— Туда ли, сюда ли, решайте, христа ради!

24

Иван Шатунов был злобен после встречи с Проном, да еще прибавилось злости у конторы двумя пьяными отрядниками.

Он знал, что Яков уехал, и пошел к нему в дом, где жила Анна. В деревне было тихо, не звякали подойники, не перекликались хозяйки.

Анна услышала шаги на крыльце, села на лавке, утирая лицо платком. В избе было полутемно, душно. Мошкара лепилась к огоньку лампады.

Дверь распахнулась, огонек под иконами колебнулся. Шатунов задел ногой лежащий на пороге крест. Прошел к столу. Половицы ходуном ходили под сапогами.

— Свет зажги, Ваня,— тихо сказала Анна.

— В чужом доме я не хозяин,— ответил Шатунов.— А свой ты профукала.

— Болела я, Ваня.

— Мне хоть подохни,— ответил Шатунов,— дом-то не твоим хребтом достался.

Анна заплакала, не всхлипывая, не утираясь, слизывая слезы с верхней губы.

— Таскаешься по чужим избам, мужа позоришь.

Анна справилась со слезами, сглотнула:

— Я думала, покарзился мне твой голос. Я днем тебя слышала, думала, млится. Я ведь не всегда болею, я ждала. Жить будем — и вовсе вылечусь.

— С кем это жить собираешься?

— Венчались, Ваня... Хоть бы слово от тебя одно. Кулаком на меня стучали, будто бы тебя прятала. Думала: живой, не живой? Сколь всего передумала.

— Где дом?

— У Шарыгина, на отрубе.

«Вот оно что!» — отметил про себя Шатунов.

— Он вернет. Он говорил, что давал подписку: опекунство и лечение.

Шатунов сел за стол, опустил голову на сгиб руки. Сквозь гимнастерку почувствовал, какой горячий лоб. На запах пота потянулась от лампадки мошкара. Вдруг слова пришли к Шатунову: «Ой да вы не вейтеся, русые кудри, ой да над моею больной головой. Я теперь и больна и бессильна, нету в сердце былого огня...» Именно так и пел он раньше в застолье, не глядя ни на кого, уронив хмельную голову на руки. «Скоро мрачное утро настанет, будет дождик осенний мочить. Из друзей моих верных, наверное, только...» Кто? — орал он и бился в столешницу лбом: — «Ой да эх, никто не придет хоронить...»

— Гусей пасла,— говорила Анна.— Выскочу из болезни, смутно-смутно, неясно помню. Баб спрашивала, что хоть со мной? Потом опять голову обнесет, как в колодец провалюсь.

«Ну, возьму Захарку за шиворот, ну, верну дом, а жить как?» — Шатунов поднял голову, вспомнил, что утром с этого стола ему как нищему подали кусок хлеба.

Анна, легко ступая детскими цветными лаптями, хотела подойти к мужу, но тот встал, обошел жену стороной, шагнул к выходу. Анна торопливо заговорила:

— Разве я думаю, что простишь, а хотя, сам посуди, за что? Чем же я виноватая? Молодые ведь еще, Ваня. Жить да жить.

Шатунов переступил порог.

— Бог с тобой,— крестила его Анна,— бог с тобой.

Муж ушел. Анна нагнулась, подобрала крест. Почувствовала, как обволакивает голову розовый туман с проблесками синих и красных искр, как тяжелеет голова. Ее шатнуло, она поймалась рукой за косяк. Все равно было плохо. Спрятала крест в вырез кофты, выбралась на крыльцо. Боясь, что опять накатит болезнь, потянулась к рукомойнику, слила на ладонь остывающую к ночи воду, отерла виски, лоб, лицо. Подобрала волосы. Медленно сошла с крыльца. Напрягла шею. Боль из головы перешла в сердце.

Небо потемнело, обозначилась луна. Лицу стало прохладно. «Пронесло, господи». Анна наступила на лапотную веревку, споткнулась. Села на приступок, нагнулась, затýжила портянку и стала быстро окручивать ногу хлещущей по рукам веревкой. Мочальный узелок на конце веревки царапнул около глаза.

Анна пошла к шарыгинской бане. Ее окликнул охранник:

— Куда надо? Чего шляешься?

— Ночевать я. Ночую тут.

— В бане? Врать-то!

Анна, боясь в разговоре потерять решимость задуманного, отошла от охранника, пошла в тени вдоль забора. Закрыла белеющий вырез на груди, оглянулась. Охранник стоял у окна и при свете лампы, зажженной на столе у Степачева, делал самокрутку. Тогда она перелезла через забор и поползла по борозде. Шум раздался от конторы. Анна замерла.

Русский я мужик простой,
Вырос на морозе.
Летом в поле за сохой
И зимой в извозе.

Различились слова и оборвались. Анна еще полежала. Тихо стрекотал кузнечик, да далеко, у Вятки, кричал дергач.

«Если и выловят, так хоть пусть в новом платье»,— подумала Анна. Встала. В окошечке бани горел свет. Анна подумала, что она сама в беспамятстве зажгла коптилку, подошла. Дернула дверь, та не поддалась. Анна нащупала мокрый от росы замок, испугалась, подошла к окошку и сбоку заглянула.

Изнутри к стеклу приблизилось темное, мерцающее по краям лицо.

25

Захар Шарыгин приготовил Степачеву две постели. На выбор. Одну в горнице на железной, городской кровати, другую в сенях, на деревянной, вынесенной сюда, когда купили железную.

Степачев сидел, листал бумаги, изъятые в конторе.

— Это самое...— начал Захар и подождал, когда Степачев подымет голову.— Значит, сами решайте, где ляжете, тут или на холодке.

— Сам где?

— Так ведь как,— Захар заторопился.— Раз уж я сказал,— лошадей-то с хутора пригнать надо.

— Что ж, верно, давай.

— Живой ногой! — обрадовался Захар, но все-таки поплакался: — Проньке-то что. Не своих от сердца отрывать. Еще и выламывается.

Степачев усмехнулся:

— С тебя две, с него двадцать. Разница? Возьми, если надо, сопровождающего. Не надо? Коня возьми, чтоб быстрее.

— Вот спасибо!

— Чего это в твоей конюшне керосином воняет?

— Пролил,— нашелся Захар.— Бутыль стеклянную ногой задел.

— А-а. Я думал, спалить тебя хотели.

Степачев потянулся. Бумаги были неинтересными, старыми по времени: донесения о прохождении арестантских команд; расписание движения грузовых обозов; жалобы на дорожные артели; зимние и летние нормы фуража на легковую и обозную лошадь; заявка кузнеца на полосовое железо; просьба какого-то ямщика выдать тулуп, так как старый «вытерся до кожи, что и вовсе не в счет»...

— Живи, Шарыгин,— сказал Степачев,— плодись и размножайся. Живуч ты, а не боец!

— Богу молюсь за ваше дело,— с чувством произнес Захар и покосился на иконы. Лампадка не горела. Но не от спички же ее зажигать.— Богу молюсь. Я ведь не Прон, я лошадок приведу,— затянул он свое.

— А куда ты денешься, приведешь. А нет, перед уходом петушка пустим, клопов сжечь. Клопы-то есть?

— В сенках спите,— уклончиво ответил хозяин.

Степачев отвернулся, выкрутил побольше фитиль. «Керосин не жалеет,— отметил про себя Шарыгин.— Стекло за час закоптил. Скорей бы уезжали»,— подумал он, выходя.

Он был рад, что отдает заразных коней. То, что зараза может перекинуться на степачевских коней, его беспокоило, но только в случае, если болезнь обнаружится на стоянке. А уедут, там не докажешь. «На них же и свалю».

На случай, если верх возьмут большевики, Захар приготовил другой довод. Тогда он скажет, что заразных коней подсуропил специально, чтоб навредить Степачеву.

Сейчас, в эти минуты, его больше всего пугало, что узнается правда об украденном доме. «На хуторе отсижусь,— решил он.— Баба лошадей уведет». Он вспомнил, зачем послан Сенька, и перекрестился,— царство небесное! От окна откачнулась тень. Показалось, то председатель. Пот Захара прошиб. Охранник!

— Тьфу ты, нечистая сила! — ругнулся он и все-таки махнул рукой ото лба к животу и на плечи.

— Табачку бы, дядя, отсыпал,— сказал охранник.— Дом-то твой стерегу, чтоб не сбежал.

— Дом не сбежит,— ответил Захар.— Не курю и тебе не советую. А кого стережешь, сам знаешь.

В конюшне степачевские лошади хрумкали его овес. Седла на конях, только подпруги ослаблены. Захар отвязал запасную, рывком затянул подпругу, ударив коленом в живот. Вставил в конскую пасть звякнувшие о зубы удила. «Нажралась»,— злобно подумал он.

— Разрешили,— сказал он охраннику, выводя лошадь.

— Волоки.

Калитка заскрипела. Захар вывел коня на дорогу и уже стал ногой в стремя, как увидел мелькнувшего над забором человека.

«Господи, избавь!» — охнул Захар. Разглядел — баба. «Сбежала,— подумал он о жене Прона.— Караульщики!» Дернул коня за узду, захлестнул повод вокруг столбика, кинулся за женщиной.

Подняв до колен подол юбки, чтоб не наступить, жен-

щина перебежала улицу, скользнула в калитку дома Якова, но неловко задела плечом, порвала кофту. Захар настиг, схватил за плечи. Мысль, бывшая вначале,— поймать, вернуть Степачеву, сменилась другой — спрятать жену Прона на хуторе, чтоб за эту услугу сделать Прона зависимым на будущее.

— Ага! — сказал он, резко поворачивая женщину.— Анна?! Куда бежала? От кого? — Захар оглянулся.— Ивана видела? Только пикни, пришибу! Видела? — Он вглядывался в Анну, в своем она уме или нет? Глаза ее блестели, стояла луна.

Подвел к коню, подсадил. Она села ногами на одну сторону, как таборная цыганка. Захар ступил в стремя, перекосил седло влево, сел, выровнялся. Поглядел на свой дом — тихо. Оглянулся на костер у конторы — вроде никого.

Тронул коня. Тот потянул к дороге. Захар повернул его, направил по траве. Беззвучно ступая копытами, конь пошагал к концу деревни.

Анна прижимала рукой порванную на плече кофту.

Постовые у выездных ворот не задержали: узнали. Об Анне подумали — жена.

26

На другом конце деревни другие постовые остановили Прона и Якова. Сунулись обыскать — Прон, сидевший на козлах, не дал.

— Зови начальника.

Сбегали за Шатуновым. Шатунов подошел, хмуро взглянул:

— Быстро вы.

— Только одну сторону,— ответил Яков,— теперь в другую.

— А где этот? Бакшаев? И этот...

— Высадил их, где велел.

— А-а. Чего на коленях стоишь?

— Он, Ваня, копчиком ударился, сидеть ему тяжело,— объяснил Прон.

— Яков, останься-ка,— распорядился Шатунов.

— Я поеду,— сказал Прон.— Дал бы ты Яшке, ваше благородие, лошадку.

— Езжай, езжай,— угрюмо сказал Шатунов.

— Пусть на том конце пропустят.

Шатунов кивнул одному из постовых:

— Проводи.

Постовой закинул за плечо кавалерийский карабин. Прон ловко соскочил с козел на здоровую ногу, сел в тарантас на охапку сена.

— Ну-к, прокати. Хоть раз в жизни барином побуду. Эх, мягко!

Сопровождающий сел на его место, встряхнул вожжи. Жеребец охотно дернул, думая, что едут домой.

— Яков,— доверительно спросил Шатунов,— мой дом Захар увез?

— Да. Раскатал — и на хутор.

— Что же днем-то не сказал? — упрекнул Шатунов.— А председатель, значит, давал ему за дом прочуханку? Жучил?

— Не успел. Собирался. Уж он бы его прошерстил,— сказал Яков.

— А дом он куда собирался?

— Анне.

— Врешь! — сказал Шатунов, но увидел, что Яков не врет, резко повернулся к костру. И тут же остановился: понял, что не успеет остановить Сеньку.

— Выстрела не слыхал?

Яков подумал:

— Слыхал.

— Эх! — крякнул Шатунов.— А, черт с ним! Яшка, не езди никуда, дома сиди. Анну не выпускать. Все!

Он широко пошагал, тревожа ногами начинающую отдыхать дорогу. Яков трусил рядом. Поднялась и остановилась над деревней луна. Белые тополя светились.

Яков, угадавший перемену настроения в Шатунове, торопился высказать свой совет:

— Бросил бы ты их, Иван. Али отвык от крестьянства?

Шатунов не ответил, думал свое. У Якова появилась надежда, что Шатунов поможет ему спасти жеребца, но надежда была слабенькая, и Яков попробовал зацепить в Шатунове божескую струну, каковая, как думал Яков, есть в каждом человеке.

— Маленькими были, старик приходил, помнишь ли, прорицал? А? Как бы не сошлось.

— Чего? — спросил Шатунов.

— А вот: «...будет людей так мало, что будут искать друг друга...», ведь смотри, Иван, как народ бьют, легко ли! «Будут искать и обносятся до того, что, увидя другого, лопухами прикроют стыдные места, и тогда подойдут и будут пещеры-жилища, а горы — место лицезрения...»

— Не помню,— сказал Шатунов.

Яков хотел рассказать и другое из того, что запомнилось от старика, о воде, как «будут люди умирать от жажды, будут искать воду, бежать и им откроется вода. Кинутся к ней, а это окажется серебро», но не рассказал: страшно стало.

27

Жеребец повернул к дому Якова.

— Куд-да?! — сопровождающий потянул за вожжи.— Пр-рямо!

Прон спросил:

— Ехали сюда, бабы никакой не везли с собой?

— Нет.

— Не видел или не ехала?

— Мое дело телячье, поел — и во двор,— ответил сопровождающий.— Не видел, говорю, не видел.

В доме Шарыгина горел свет. Охранник окликнул их.

— Табачком не богаты?

— Нету,— сказал сопровождающий.

— Держи! — Прон бросил пачку «Дюбека». Охранник нагнулся, стал шарить в траве.

— Ишь выцыганивает,— осудил сопровождающий, когда отъехали.

— Будешь обратно идти, поделите.

— Поделится он. Он за рубль родному отцу ногу отгрызет.

— А ты за сколько?

Сопровождающий захохотал. Жеребец испугался, зашагал быстрее.

— Ты, значит, лошадей у мужиков собираешь?

— Собираю.

— Думаешь, отдадут?

— Ты бы отдал?

— У меня ее никогда не было.

Подъехали к постовым. Они узнали своего.

— Скоро ли сменят-то? — недовольно спросил один.— Хорошо вам у конторы, нам и костер не велели раскладывать. Сидим как жабы, глаза таращим.

Прон пересел на козлы, разобрал вожжи.

— Пропусти его,— сказал сопровождающий.— За лошадями для нас.

— Тоже дело.

— Ребята,— спросил Прон и этих.— Днем, когда сюда ехали, не было с вами бабы?

— Бабу какую-то спрашивают,— объяснил сопровождающий.— Вроде не было.

— Ночью бабу хватился,— посмеялся постовой.— Ночью с бабой спят.

— А этот, у которого Степачев-то стоит, который проехал-то,— вступил в разговор второй постовой. К нему повернулись.— Я говорю, с бабой он ехал.

— С какой? — вскинулся Прон.

— Со своей,— успокоил первый постовой.— От нашего начальника увез, видать, от греха подальше.

— Счастливо оставаться,— пожелал Прон и понужнул жеребца.

Жеребец понял: раз выехали за деревню, предстоит дорога, и влег в хомут. Прон подторопил. Жеребец сделал пробежку и опять зашагал.

— Вылезай,— сказал Прон.— Не заснул?

Из-под сена в тарантасе выбрался Анатолий. Отер рукавом мокрое лицо. Поставил на предохранитель наган. Потряс затекшими руками. Вывесил за край тарантаса ноги, поболтал ими. Онемевшие ноги оживали. Анатолий спрыгнул на землю и едва устоял — ноги не держали. Влез обратно.

— Выдержка у тебя о-е-е-й,— сказал он Прону.

— У меня что,— усмехнулся тот.— Это у тебя — да! Я б с эстоль не вылежал. Да еще сидели на тебе.

— Не ты, не знаю, что и было бы.

— Никто не хвалит, сами похвалимся,— засмеялся Прон.

Напряжение, пока они проезжали деревню, ослабло, но вдруг до него дошли слова постовых: Шарыгин про-

ехал не один, с женщиной. Не с женой же. Жена Шарыгина на хуторе.

Прон вскочил, заорал на жеребца, погнал.

— Чего? — крикнул Анатолий. Его откинуло и прижало к спинке тарантаса.

Жеребец понес. Тарантас взметывало. Прон уперся в грядку тарантаса, встал на ноги.

28

— Тут хозяин? — спросил на ходу Шатунов.

Охранник не понял, о ком его спрашивают.

— Который?

Но Шатунов уже был на крыльце. Проскочил сени, рванул за ручку, откинул дверь нараспашку.

Степачев в нательной рубахе, но в портупее сидел на кровати.

Рука его дернулась к кобуре, но тут же опустилась. Шатунов отмахнул в сторону кухонную занавеску. Выскочил в сени, сунул руку в полог — пусто. Вернулся в избу.

— Где Захарка?

— В чем дело?

— Где Захарка?

— На своем хуторе.

— На своем? Так.— Шатунов сел.

Степачев мельком глянул на него, встал. Взял из-под лампы листок бумаги.

— Послушай. Любопытное признание. Депеша о нас. Вот. «...не исключено, что установка (то есть наша установка) на зажиточные хозяйства вызовет поддержку мятежа определенной частью крестьян...» А, каково?

— Такие суки, как Захарка, тебя и поддерживают.

Степачев взял со стола лампу. Тень его стала громадной, закрыла пол-избы. Приблизил лампу к лицу Шатунова. Тот отвел рукой лампу. Степачев спокойно поставил ее на место.

— Я ведь тоже горячий, Ваня,— ласково сказал он.— Захарка действительно сука, но на меня-то зачем так смотреть?

Шатунов взял с лавки медный кованый ковш, залез им в ведро. Ковш скребанул по дну. Шатунов бросил загремевший ковш, взял ведро в руки, напился, отклоняя

назад голову. В рот попали щепочки колодезного сруба. Он отплюнул их. Осушил рукавом губы, поглядел в черный проем окна. Блеснул штык на трехлинейке охранника. У конторы все горел костер, бледный при свете луны.

Чувствуя, как ему становится жарко, Шатунов заговорил:

— Это моя деревня. Здесь был мой дом. Его нет.

— Знаю.

— Это моя деревня, здесь я родился...

— И здесь ты хочешь умереть.

— Здесь я хочу жить.

— Здесь ты жить не будешь.

— Буду.

— Хорошо, живи.— Степачев прошелся. Тень его бегала по стенам.— Живи, кто тебе не дает?

— Ты.

— Помилуйте,— иронически сказал Степачев.— Тебе нужен дом? Вот он. Бери. Оставайся. Кто тебе не дает? Этот ямщик? Нет, дорогой, мешаешь себе сам.

Шатунов задернул штору, достал папироску, прикурил ее над ламповым стеклом.

— Кто это мы? Я что, подрядился тебе служить?

— Наше дело — святое дело,— сказал Степачев, повышая голос,— и потому оно добровольное! И в этом — наша заслуга и наша сила. Посмотри, давно ли Советы у власти, а уже вынуждены насильственно забривать лбы. Кончился их порыв. Началось отрезвление. Оно хлестнет по ним, кто же им простит, что они посылают людей на смерть.

Шатунов нагнул голову, курил. Затянулся резко, табак попал в горло, и Шатунов закашлялся. Степачев стукнул его ладонью по спине. Шатунов поперхнулся, слезы появились, но кашель стих.

— Так что, Ваня? — мягко сказал Степачев.— Если ты считаешь, что я в тебе нуждаюсь, то заблуждаешься.

Шатунов чувствовал, как саднит в горле. Степачев принес с кухни горшок простокваши. Шатунов отпил. Стало легче.

— Иван, слушай меня,— Степачев говорил как с маленьким.— Я бы тоже отчаялся, если б видел, что мы обречены. Но нет же! Замысел наш дерзок — мы внутри России. Большевики истекают кровью на фронтах извне.

Казачьи атаманы собирают силы, Дутов уже действует. Как ни темен мужик, он пойдет за нами.

— Пойдут. Идут уже! — угрюмо сказал Шатунов.— Разная сволочь вроде меня.

— Дослушай. Пока здесь — я один. На первый взгляд это звучит скверно: одиночка. Но скажи, когда слово истины было в устах большинства? Народ бестолков, стадо. Одиночки чаще гибнут. Я готов к этому, правда за мной.

— Какая правда? — спросил Шатунов. Слова командира не доходили до него, да он и не слушал.— Ты сам откуда?

— Я русский. Этим все сказано.

— А что, вятские не русские?

— Ну, знаешь ли. Есть предел всякому терпению.

— Душно,— сказал Шатунов. Он подошел к трубе, вытянул чугунную задвижку, снял жестяную крышку с отдушины.

От двери, до сих пор распахнутой, посквозило холодком.

— Давай-ка иди спать,— сказал Степачев.— Почему я должен кого-то уговаривать, тебя в том числе?

— Стой! Куда? Стой, говорю! — закричал во дворе охранник.

Шатунов метнулся к лампе, убавил свет, выглянул в окно. Узнал Сеньку Бакшаева.

— Пропусти! — крикнул Шатунов охраннику. Оттолкнул от себя тяжелую раму.— Пропустить!

— Кто там?

— Парень этот. Председателя который...

— А,— Степачев выкрутил фитиль, прибавил света.

— Стихли комары,— сказал Шатунов.— Не буду окно закрывать.

29

Вошел Сенька. Рукава от полушубка он нес в руках. Шатунов спросил:

— Чего это ты в жилетке? — и увидел Сенькино страшное лицо.

— Что такое?

— Ушел он,— выговорил Сенька.— С Проном ушел. Как хотите, так и думайте.

— Врешь! — Степачев медленно подошел к Сеньке. Тот пятился, пока не ударился о косяк.— Ты врешь! — говорил Степачев, брезгливо, одним пальцем поднимая за подбородок Сенькино лицо. Сенька стукнулся затылком.— Где это ты загримировался? Ты это какую роль играешь? И сколько же тебе за эту роль платят?

— Это надо было Прона не знать, чтоб поверить,— успел сказать Сенька.

Степачев ударил, не замахиваясь. Сенька сполз спиной по косяку. Степачев стал бить его ногами. Шатунов вспомнил, как он сам днем при Сеньке бил председателя, и ему стало противно.

— Хватит! — крикнул он.— Я не собираюсь в пыточной камере спать.

Сенька, давясь кровью, кричал:

— Бейте, стервы, все бейте. Знал бы, никогда бы к вам не пришел.

Степачев сполоснул руку под рукомойником, взял полотенце:

— Ты, братец, успокойся и расскажи, как было дело.

— Пропадите вы все пропадом,— ответил Сенька.

— С такими, как ты, пропадешь,— согласился Степачев, вытирая палец за пальцем.— Говори, говори, пока есть возможность. Тебе что было приказано?

Сенька встал, швырнул рукава, стащил полушубок и тоже бросил.

— Идите вы все к такой-то матери! — крикнул он.— Если вы родного сына не жалеете, что от вас ждать!

— Какого сына? — вскочил Шатунов.— Врешь!

— Такого! Председателя. Что, не сын?

Степачев уронил белое полотенце рядом с полушубком.

— Иван! Ты что ему приказывал?

Шатунов взял себя в руки, стал расстегивать кобуру:

— А вот сейчас прихлопну, будет знать, что приказывали.

— Перестань,— брезгливо остановил Степачев.— Где они?

— Не знаю.

— Иван! — беспомощно сказал Степачев.— Иван. Да как же так?

— С полчаса, как проехал Прон в уржумскую сторону.

— Седлать!

Шатунов высунулся в окно, крикнул охраннику:

— Дежурному взводу седлать!

Охранник перехватил трехлинейку, приложился и выстрелил в небо. Передернул затвор. Выпала, сверкнув, гильза. Охранник еще раз выстрелил. У конторы зашевелились.

Степачев одевался. Сенька пил воду из рукомойника.

— Как тебя? Бакшаев?

— Я!

— Иван, дай ему ключи от бани. Пусть ее,— и черканул рукой.

— Ладно,— ответил Шатунов,— одевайся, я лошадей приготовлю. Иди за мной,— велел он Сеньке.

У калитки стоял Яков. Сенька, увидев его, отпрянул назад, в сени.

Охранник выводил из конюшни командирских коней. У конторы слышались голоса, брань. Кони ржали.

Шатунов подошел к Якову.

— Нету Анны,— доложил Яков.— Весь двор обыскал. И креста нет, я крест на порог клал, чтоб не ушла.

Шатунов странно усмехнулся:

— Вот тебе ключ, Яша. Ускачем, откроешь баню, выпустишь свою невестку, Пронову бабу. Понял?

— Да, да,— радостно закивал Яков.— Бог тебя простит за все.

— Вначале тебя простит. За председателя. Спас, значит. Молодец. Зачтется.

Яков обомлел.

— Ты думал, Шатунов не узнает? Если б не я, конец бы тебе. Иди. Стой! Председатель — сын Степачева?

— Но я же не знал, Ваня. Крест во все пузо, не знал. Если б знал, разве бы тебе не сказал.

— Ладно, иди. Стой! Сразу не лезь, как ускачем, только тогда. Выжди.

— Иван,— сказал Яков.— Не берите лошадей у Шарыгина: заразные.

— Как?

— Сап. Заразные, и своих заразите. Подвел он вас, козла под стол пустил.

Из дома выскочил Степачев. Яков глотнул воздух, стиснул в кулаке теплый ключ, пригнулся и побежал вдоль забора в проулок.

Охранник бросил повод шатуновской лошади,— торопливо подвел степачевскую к крыльцу. Степачев вскочил в заскрипевшее седло.

— Ты скоро? — спросил он Шатунова.

— Сейчас. Бакшаев!

Степачев ударил каблуками коня, поскакал к конторе. Сенька подбежал к Шатунову.

— Наган, конечно, отобрали у тебя,— сказал Шатунов, передавая Сеньке другой.— Умеешь?

— Умею. Кого?

— Брата Прона, Яшку. Он тебя продал. Я смолчу, Степачеву продаст.

— Где он? — спросил Сенька, дрожа от холода.

— Скоро к бане придет. Подкарауль. Значит, его и...— Шатунов помедлил,— ее. Сквозь стекло. Там у нее светло.

— Кого ее?

— Пронову бабу. Яшка за ней придет. Учти. Обязательно.

— Ее-то за что?

— Отомсти. Она Прона на тебя натравила. Давай. Вернусь, в обиду не дам. За меня держись.— Он хлопнул Сеньку по плечу, повернулся.

Охранник подвел лошадь. Сенька побежал на задворки. Шатунов ловил ногой стремя. Стремя крутилось. Шатунов удержал его рукой, сел на коня. Охранник подбежал с другой стороны, насунул на носок шатуновского сапога другое стремя.

— Слушай! — сказал Шатунов.— Дом нечего стеречь, за баней поглядывай. Иди к ней и с мушки не спускай. Не промахнись.

— Срежу, ваше благородие. То есть кого именно?

Конь плясал под Шатуновым. Шатунов склонился к охраннику.

— За бабой придут. Этот парень, морда покарябана, видел?

— Ну!

— Будет стрелять. Потом ты его. Если он не будет стрелять, пали по всем, понял?

— А он в кого?

— Ну, дурак! Тебе-то что. Упустишь, убью. Отчитаешься трупами. Понял приказ?

— Понял, ваше благородие. Вашблародь, лошадку бы мне какую получше.

— Пригонят, сам выберешь.

— Вот спасибо, вот уважили! — обрадовался охранник.

Шатунов вымахнул на тракт. От конторы, тяжело ударяя копытами, скакал взвод. Мелькнула тачанка. Пулеметчик в нательной рубахе хохотал, валясь набок и хватаясь за холодный щиток пулемета. Шатунов настиг командира, пристроился рядом, закричал:

— Я наперехват, дорогу знаю.

— Давай, Ваня, — азартно ответил Степачев. — Если раньше догонишь, сына не тронь. Он парень хороший, башку ему только замусорили. Эх, были б для всех лошади, прямо б грянули. С одним взводом не сунешься.

Кони переставали ржать, огрызаться, находя свое место в скачущих рядах. Громыхали, ударяя по спинам всадников, короткие карабины. Пулеметчик, прохваченный свежестью ночи, надевал шинель. Тени неслись по обочине. Отскочил с дороги человек. Шатунов узнал встречного, крикнул Степачеву:

— Ну, давай! — и осадил коня.

Взвод выкатился за деревню, растянулся по тракту. Шатунов крикнул встречному:

— Проводил?

— Так точно!

— Пойдешь к штабу охранять баню. Сейчас же! Давно этот ямщик проехал?

— Я как проводил, он сразу и проехал.

— Один?

— Один.

— Ступай! Смотри там! Если что, стреляй без окриков.

По боковой дороге Шатунов выскочил на косогор, оттуда резанул по пешеходной прямушке к лесу, к высокому обрыву оврага. Конь присел, испугался. Шатунов ожег коня плетью, встал на стременах, откинулся корпусом назад. Конь скакнул, поехал вниз на согнутых задних ногах. Сыпались камни, взвилась желтая пыль, запорошила ручей на дне оврага. Конь съехал

на дно оврага, упал на колени. Ошпаренный плеткой по морде, вскочил, с трудом выбрался на другую сторону.

Ручей понес пыль к Вятке. Пыль намокала, оседала на дно. Вода в ручье снова стала чистой.

На обрыве у конторы догорал костер. У него спали два певших вечером песни отрядника.

Пыль на тракте улеглась, засветилась под луной.

30

Отрядник, получивший приказ охранять баню, шел по улице. Босой мальчишка выскочил на дорогу, испугался отрядника. Бросился обратно.

— Стой! — сказал отрядник. — Стой, говорю, не кусаюсь. — Мальчишка остановился. — Куда бежал?

— Никуда. — Рубашонка мальчишки белела, белело лицо, босые ноги.

— Беги, — сказал отрядник. — И не суйся: замнут.

— Дядя, — спросил мальчишка. — Они насовсем уехали?

— А что?

— Мамка на улицу не пускает.

— Ну и сиди дома.

— Как же я дома червей накопаю? — спросил мальчишка.— Я бы и у себя в огороде накопал, так скотины у нас нет и навоза нет. Дядя, — похвастался мальчишка. — А я завтра жеребца купать поведу. Ух, жеребец! Ты бы видел.

— Беги, беги.

Мальчишка, взлягивая, помчался по пыльной дороге, похожей на шелковое стеганое одеяло.

Одинокое бесприютное облако закрыло луну, как закрывают ладошкой свечу, и опять побежало дальше.

Березы чернели.

И грустно было думать, что в этой благостной тишине, под этим родным для всех лунным светом, среди прохладных, высоких трав и тихих лесов, люди бьют плетьми лошадей, гонятся за другими людьми.

31

Захар говорил вначале негромко, ласково. Анна молчала. Отъехали от деревни подальше. Захар стал

допытываться злее. Важно было знать, сказала ли Анна мужу о доме.

— Глухая, что ли? — спрашивал он, толкая Анну в спину.

Анне было больно сидеть на остром хребте заезженной лошади.

— В лесу будешь ночевать, дура!

Анна, прикрывая голое плечо и прижимая спрятанный на груди крест, повернулась и измученно сказала:

— Соскочу я. Обратно пойду. Я ведь думала, гусей везете пасти.

— Тьфу! — сплюнул Захар. — Гусей! Муж у тебя начальник. Ты с ним говорила?

— Нет, — сказала Анна и мысленно перекрестилась, извиняясь за свою ложь. Она и в самом деле решила для себя, что как муж живет без нее, так и она проживет без него, как уже и привыкла.

— Тебе ж добра хочу, — сказал Захар и подумал за Шатунова: действительно, зачем ему тронутая жена.

— Все на меня кричат, будто я виноватая.

— Я не кричу, я злюсь. Лошадей у меня отнимают. Хозяйство под корень. Заместо тебя сам буду гусей пасти, — облегченно говорил Захар, думая, что же делать с Анной. Везти на хутор ни к чему, отвезти в деревню — нарвешься на Шатунова. — На хуторе тебя хотел спрятать. Пока эта передряга длится.

— Не надо.

— Как знаешь.

Анна спрыгнула на дорогу. Лошадь стала. Чтобы окончательно себя успокоить, Захар сказал:

— Дом ваш я спас. Ты в больнице была. Начали его по бревнышку растаскивать. Решил для тебя сохранить. Купил у опекунского совета. Сколь сена продал, корову-ведерницу да шерсти три торбищи — сумма! Меду кадушку. Муж спросит, еще и благодарен должен быть, верно? За половину отдам. Кто бы еще столько скостил?

Анна зябла. Захар оглянулся и заметил, что их кто-то нагоняет.

— Анна. Я для тебя и Ивана постараюсь, чем могу. Заживете будь-будь! Сколь я тебя по больницам возил. Ну, иди. Не так далеко отъехали.

Он торопливо понукнул и свернул с тракта к своему

хутору. Согнулся под нависшие еловые ветки. Одна ветвь сшибла с него картуз. Захар тихо выругался, слез с лошади, поднял картуз. Жена давно просила его обрубить ветви, чтоб не цеплялись за дугу, но он не хотел, чтоб сворот с тракта на хутор был виден каждому. Захар потянул лошадь за повод, отвел подальше, прислушался.

Где-то, видимо, за Вяткой, точили косу. Брусок звякал о сталь: от пятки к середине звонко, протяжно, на конце коротко, жестко.

Анна пошагала обратно. Выше заверток ноги ее были голыми, мерзли. Днем был дождь, поэтому туман в эту ночь был сильнее, чем в прошлые ночи. Казалось, что низины завалены снегом. Тракт начинало переметать полосками белого тумана, как зимой переметает поземкой.

На кладбище, которое недавно проехали Анна и Захар, было тихо. Ветер обдул кресты и могильные холмы, высушил выполосканные дождем полотенца. Легонько качались на полотенцах вышитые свадебные голубки, уносившие на божий суд души умерших и вернувшиеся на кресты, чтобы вылинять и исчезнуть.

32

Храпящий жеребец тяжело носил боками. Мокрая шерсть была как медная при луне.

— Анна! — узнал Прон женщину. — Откуда? Да ы вся задрогла.

Анатолий быстро снял с себя пиджак, протянул.

— Вы куда? — спросила Анна. Пиджак не взяла.

— Садись, — сказал Прон. — В Уржум.

— Я в Уржум не хочу.

— Садись, хоть погрейся. Постоим. Жеребец отдохнет.

Анатолий подвинулся. Анна поочередно постукала лаптями о подножку тарантаса, села рядом. Укутала холодным подолом ноги. Молча приняла на плечи пиджак.

— Мы вернем ваш дом, — сказал Анатолий. Она дико глянула, отстранилась.

Прон обошел тарантас, потрогал горячие ступицы колес. Подошел к жеребцу, засунул ладонь под седелко.

— Леший бы унес, — недовольно сказал он. — Как наладились от деревни, все наметом. Этого запалим, остатки им коней не видать.

Жеребец стал дышать ровнее. Он заметно похудел. Подбрюшник свободно болтался.

Недалеко, в лесу, Захар Шарыгин пошел к своему хутору, ведя лошадь в поводу.

— Интересно,— сказал Прон, оглядываясь назад,— за сколько маханули? Это быстрей получается, чем со Столыпиным. Во как Советскую власть мчу!

Анатолий улыбнулся.

— Седок-от ты невыгодный,— пошутил Прон.— Того вез — хоть золотой рубль сунул, а от тебя чего ждать? Ни в честь, ни в славу. Отдышался? — спросил он жеребца.— Как купанный ты, миленький, ровно в бане был.

Анна встала. Пиджак упал с ее плеч.

— Прон! — сказала она.— Жена твоя заперта в бане у Шарыгина.

— Так... Не врал твой папаша.

— Она закрыта, ее стерегут, окно маленькое, говорит: скажи Прону,— торопилась Анна.

Прон сел на козлы.

— Толя. Тут осталось пять верст, дойдешь.

— Не суйся в петлю,— сказал Анатолий.

— Ты говоришь, я тебя слушаю,— ответил на это Прон.— А твои тебя послушают?

— Да. Ведь не только из-за нее...

— Не надо. Жена только мне родная, чего ради из-за нее другим срываться. Да и Анну бросать неладное дело.

Шерсть на жеребце начала высыхать. Жеребец вздрагивал.

33

Шатунов, мчавший по прямушке на хутор Захара Шарыгина, выскочил на тракт именно в том месте, где стоял тарантас.

Может быть, ничего бы не случилось, если бы Анатолий не сразу увидел его. Но Анатолий увидел, ткнул в спину Прона. Тот, по ямщицкой привычке, рванул за вожжи.

Шатунов же, видя, что люди убегают от него (значит, есть причина убегать), ударился в погоню и быстро настиг еще не разошедшегося жеребца. Шатунов узнал Прона, увидел женщину и испугался, что это его жена. Он приказал ее убить, а она здесь, она расскажет!

Еще не придумав, что делать, Шатунов схватился за карабин, торчащий прикладом вверх из чехла. Но сообразил, что может не попасть на скаку и даст сигнал погоне. Выдернул из ножен шашку, опустил вниз, вдоль сапога. Равняясь с тарантасом, вставая на стременах и замахиваясь, узнал Анну.

Анатолий опередил.

Выстрелил.

Анна закричала. Прон осадил жеребца. Шатуновская лошадь по инерции проскочила вперед и тоже остановилась. Шатунов, упавший влево с седла, выпростал ногу из стремени и затих. Анна била Анатолия крестом. Анатолий схватил ее за руки, вырвал крест, отбросил. Прон подбежал к упавшему, узнал его, оглянулся на Анну.

Анна кинулась к мужу, подняла его окровавленную голову, думая, что пуля попала в голову. Но это была ссадина на щеке и лбу, быстро оплывшая кровью. Анна оторвала сухо затрещавший рукав кофты, располоснула его вдоль шва и хотела перевязать. Но Шатунов замычал, мотая головой и пытаясь встать.

— Уйди.

Когда он встал, запачканный кровью, ему показалось, что его просто ударили колотушкой по груди и от этого ему трудно вздохнуть. Он кашлянул. Изо рта полилась кровь.

Ни Прон, ни Анна, ни Анатолий не успели подхватить его. Он упал посередине тракта.

— Ваня! Ваня! — говорила Анна, кидаясь на колени.

— В тарантас! — велел Прон.

— Не надо,— прошептал Шатунов.— Прости, Анна, не понял я... Бог с тобой.

Голова стала тяжелой, как будто весила больше,

чем остальное тело. И хотя Шатунов не чувствовал боли и не знал, что умирает, он понял, что ему не сказать всего, что он думает.

А думалось даже не о том, кто в него выстрелил, не о том, что настала расплата за его нехорошую жизнь, даже и не о том, что надо предупредить Прона о жене (да и поздно), а о том, что только сейчас до него дошел смысл этих слов: «Бог с тобой».

Ведь днем Анна именно так и сказала, отпуская его, прощая ему, а он гнался за своим домом, хотел расправиться с Проном и женой Прона, с Сенькой, с Яковом, с Шарыгиным, чтоб никто из деревенских не помнил его прошлого и не мешал бы жить дальше.

А вот оно как получилось.

Прон закрыл глаза покойного. Анна тряслась, голова ее дергалась. Лошадь Шатунова заржала, отпрыгнула. И тотчас зашлась в хохоте Анна.

Прон, не глядя на Анатолия, сказал:

— Лови его лошадь, верхом поезжай.

— Закопать надо,— мрачно сказал Анатолий.

— Без тебя похороним,— ответил Прон. Взял Анну за руку. Анна замолчала, но руку вырвала.

И опять донеслось звяканье бруска о полотно косы.

Лошадь не подпускала к себе Анатолия, но далеко не отходила, кружила рядом. Прон пошел ловить сам. Но лошадь не далась и ему.

И тут они увидели, как на далекий холм со стороны деревни вынеслись всадники. Двое отделились от группы и поскакали к ним.

— Дождались,— сказал Прон.

34

— Марш в тарантас! — распорядился Прон.— Марш, говорю.

Одна из приближающихся лошадей заржала. Лошадь Шатунова подняла голову, насторожилась, ответно заржала и поскакала навстречу. Она наступала на повод, голова дергалась, будто хотела кого насмешить.

Всадники поймали ее. Остановились, видимо, посовещались. Вряд ли они могли разглядеть людей, но, наверное, узнали лошадь, тотчас повернули и порысили обратно.

— Бери тарантас, поезжай, задержу, — сказал Прон.— Ведь вернутся. А мне ничего не сделают.

— Поедем вместе.

— Нет.

Они оглянулись. Анна в это время рвала у обочины траву. Вырвался целый пучок с корнями. Анна бросила все, перебежала на опушку леса и стала собирать белеющие ромашки.

— Значит, ты подумал, что я могу бросить тебя? — спросил Анатолий.

— Мог не мог, какое дело. Тебе надо, поезжай.

— Не я его, так он убил бы. Ты это понимаешь?

Прон увидел, что всадники доехали до своих и весь отряд с места в карьер понесся к ним.

Анна положила набранные цветы в подол юбки, подошла к жеребцу, вывалила цветы перед его мордой. Жеребец потянулся, но не достал: мешал хомут. Расставил пошире передние ноги, но все равно не дотянулся. Анна замычала, жестами прося Прона, чтоб он рассупонил жеребца.

— Одно спасение — с ума сойти,— сказал Прон.

Всадники приближались. Анатолий крутнул барабан в нагане, пошел навстречу.

Прон торопливо расстегнул удила, показал Анне, чтоб кормила жеребца с рук, и пошел за председателем.

Всадники осадили саженях в пятнадцати. Анатолий поднял руку и выстрелил.

— Командира мне! Остальным стоять на месте.

Прон подбежал, дернул за рукав:

— Слушай, давай в лес. Никто не найдет.

— Поздно,— ответил Анатолий.

— Я тебя прошу, беги. Я задержу. Ты мне обещал жену спасти. Она тяжелая. Меня твои не послушают.

Всадники разъехались. В образовавшийся коридор проехала тачанка, медленно развернулась. Пулеметчик выглянул из-за щитка, повел стволом.

— Брось хлопушку! — крикнул передний верховой.

Анатолий бросил наган. Выехал Степачев.

— Отойди,— сказал Прону Анатолий.

Тот немного отступил.

Степачев спешился. Луна светила ему в лицо.

— Пусть остальные отъедут,— громко сказал Анатолий.

Степачев кинулся к сыну.

— Отъехать остальным! — крикнул Анатолий.

Степачев махнул рукой. Всадники отступили, но тачанка не двинулась с места. По-прежнему лежал за щитком пулеметчик.

— Толя! Я боялся, что не застану.

— Не подходи,— сказал Анатолий.

— Как ты здесь оказался?

— Прикажи выпустить жену Толмачева.

Бесшумно проносились тени. Вверху ходил ветер.

— Один ты остался на земле для меня, да еще мое святое дело...

— Итак, ты отпускаешь жену Толмачева. Раз. Складываешь оружие. Два.

— Не смеши меня,— ответил Степачев.— Где Шатунов?

— Я убил его.

— Поздравляю. Ты уже убиваешь. А меня ты мог бы убить?

— Но ты-то собирался убить меня.

— Не хотел. Так вот что, слушай. Твои требования смешны.

— Это не разговор.

— В самом деле,— согласился Степачев.— Убеждают действия, а не разговоры. Сейчас, ребята, оба поедете со мной. Толмачев! Подойди.

Прон подошел.

— Нехорошо получается, гражданин ямщик. Я тебе доверяю, а ты?

— За лошадями я ехал,— ответил Прон.— Сами посылали.

— Он спас мою жизнь,— сказал Анатолий.— Если тебе это важно.

— Я прикажу выпустить твою жену,— пообещал Степачев.

— А зачем было запирать?

— Я ведь не шутил,— сказал Анатолий, напрягаясь.— Тебе лучше сдаться добровольно.

— Вот уж воистину: породил человека, вышел выродок,— холодно сказал Степачев.— Ну как не убить? Крестись. И ты, ямщик, крестись.

Он шагнул в сторону, дал сигнал. Вспыхнуло у ствола пулемета короткое пламя. Пули прошли над головами.

— Вот так, комиссар, будем разговаривать. А теперь иди в свой Уржум и дождись меня. Иди и скажи: идет мой однофамилец. Подбери.— Степачев подопнул Анатолию наган.— Может быть, на прощание подаришь пулю?

Анатолий нагнулся (ствол пулемета качнулся вниз), взял наган, пошел к тарантасу. За ним Прон, немного позади Степачев. Спешившиеся отрядники шли поодаль.

Анька-дурочка спряталась за коня.

— Так помни, ты выпустишь жену Толмачева,— сказал Анатолий.

— Что тебе его жена?

— Ты выпустишь ее.

— Хорошо.

Анатолий поднял с земли свой пиджак, отряхнул.

— Я пошел,— протянул руку Прону, сказал негромко: — Утром жди.

Прон, как бы поправляя упряжь, обошел коня, отвязал от оглобли чересседельник и подбрюшник, снял с дуги гужи и, держа в руке оглоблю, оглянулся.

Степачев смотрел вслед Анатолию. Отрядник, стоящий рядом со Степачевым, взял карабин на изготовку, взглянул на Степачева.

Тот кивнул.

Отрядник, не желая осрамиться, опустился на одно колено, тщательно прицелился. Прорезь прицельной планки расплывалась от лунного света, но мушка была отчетлива. Да и Анатолий еще был близко. Отрядник выстрелил.

Закричали вороны и взлетели над кладбищем.

Анатолий вздрогнул. Видно было, что он силился не упасть, повернуться лицом к выстрелу, но отрядник добавил.

Другие отрядники, закинув карабины за спину, на-

гибались над Шатуновым, чтобы положить его труп в тарантас.

Прон бросил оглоблю на землю, переметнул дугу через гриву, рванул за повод, вывел жеребца из оглобель, вскочил, как глазом моргнул, верхом, ударил жеребца ногами. «Эх, не взнуздал!» — подумал он. Конь махнул через канаву, к лесу, в тень.

Первым выстрелил Степачев, промазал. Ударил пулемет, но наугад, запоздало. Стали стрелять и другие, но неприцельно, так, для очистки совести. Прон, сообразив, что косят по уровню всадника, спрыгнул на землю, содрал с жеребца хомут, бросил и бегом сквозь заросли выбрался на тропу, по которой недавно скакал Шатунов.

«Эх, Анну бросил! Да неужели же ей чего будет?»

Выстрелы ударяли часто и звонко, будто пастухи щелкали бичами на огромное стадо. Пули впивались в деревья. Прон отстегнул и отбросил седелко, снова вскочил на коня.

Когда началась стрельба, пожилой отрядник пригнул Аньку-дурочку, чтоб, не дай бог, не поранить.

Аньку не пугали выстрелы. Она очнулась и повела вокруг яснеющим взглядом.

Ей стало стыдно за свой расхристанный вид, она торопливо пошла из круга. Отрядники расступились. Никто не удерживал ее. Пожилой отрядник украдкой крестился. Степачев взялся за виски.

Анька побежала быстро и легко к обрыву над Вяткой. Спустилась, отводя хлещущие по лицу ветви ивы. Она боялась, что будет мелко и придется долго идти по дну, но у берега сразу было глубоко.

Она легла в середину лунной дороги, раскинув руки. И опустилась в глубину, как белый крест. Так тихо, что даже не потревожила спящих рыб.

Успокоились и вороны, вернулись на кладбище.

35

Яков поостерегся сразу идти к бане. Он затаился в проулке и высмотрел, что взвод ускакал, но охранник остался. Яков прокрался к бане с теневой стороны. Зажал замок в подол рубахи, осторожно повернул ключ.

Вынул из петель и положил замок на землю. Ожегся крапивой.

— Я это, я,— шептал он.— Яков это, не бойся.— Он приподнял дверь и отвел в сторону.

Пламя коптилки прыгало, женщина в цветном полушалке отступила за каменку.

— Жив? — только и спросила она.

— Пошли, пошли,— торопил Яков.— Тих-хо! — Яков отпрянул от двери: против бани, на пашне, стоял Сенька.

Отрядник, затаившийся на задворках, взял Сеньку на мушку.

— Выходи, Яков,— хрипло сказал Сенька.— Выходи, не бойся. Скажу чего.

— Прячься за мной,— сурово сказал Яков.— За спиной будь. Выйдем, после выстрела сразу за баню, а там дорогу знаешь. В деревню не смей. Пошли.

Яков шагнул из тени на свет. Отрядник ждал Сенькиного выстрела. Сенька сказал:

— Передай Прону: правильно он мне по морде надавал. Еще мало.

— Эх, Семен,— сказал Яков,— как же это ты?

— Ладно, не верь,— ответил Сенька. Бросил наган на землю.

Отрядник выстрелил. Пуля ударила Сеньку в спину. Яков толкнул женщину, побежал вслед за ней. Женщина старалась бежать ровно, берегла себя.

Сенька упал на четвереньки, в глазах потемнело. Ощупью он искал брошенный на межу наган. Вторая пуля расшибла ему голову.

Мальчишка, копавший червей, испугался выстрелов, помчался по грядкам. Охранник привстал, выстрелил третий раз.

36

Ветки цеплялись за рубаху, рвали ее в лоскутья. Лес кончился. У обрыва Прон не остановился, наоборот, понукнул. Конь оборвался, полетел в черную дыру оврага. Осыпь смягчила падение, да и Прон успел спрыгнуть, чтоб не сломать жеребцу хребет. Выбрались из оврага и опять понеслись, теперь уже по светлому полю к темнеющей деревне.

Прон пролетел прямиком к шарыгинскому дому. Отрядник слова не успел сказать и затвор передернуть, как Прон свалился на него сверху, ударил кулаком, как кувалдой. Отрядник рухнул. Прон рванул трехлинейку из рук и второго, подбежавшего, сшиб, как дубиной, прикладом. Кинулся на задворки. Жеребец побежал за ним.

По грядкам, по картошке добежал до бани. Дверь нараспашку. Прон сунулся в душное тепло бани, зацепился стволом за притолоку. Никого!

Горела на окне коптилка. Прон, обжигаясь, вывинтил головку коптилки, плеснул керосином на подоконник и стену, бросил фитиль. Прикладом высадил раму, выбежал.

Повернул за угол и увидел лежащего человека. Нагнулся, узнал Сеньку. Свистнул жеребцу. Подбежал к забору, отодрал верхнюю прожилину, нажал плечом и с треском повалил целое звено забора.

Яков, как будто ждал, отворил калитку, жалостливо охнул, увидя запаленного жеребца.

— Жива? — хрипло спросил Прон.

— Жива.

Прон отер клочьями рубахи исцарапанное потное лицо, поглядел на руку — вся в крови.

— Этого-то, Семена-то...— начал Яков.

— Таковский был.

— Еще мальчишку. Эх, сунулся под пулю.

— Где? — спросил Прон о жене.

— Ушла. У матери спрячется.

— Дойдет,— сказал Прон.— Спасибо, Яшка. А теперь садись, гони! Сейчас эти вернутся. Поскачешь по деревням: собираться к утру. Лошадь загонишь — бегом беги. Не сможешь бежать — ползи. Понял? Прон зовет!

— Брат! — заговорил Яков.— Ты жив, жена жива. Пусть они собачатся между собой. Нам-то все одно из куля в рогожу.

Баня разгоралась, будто раньше обычного светало.

— Яшка, не я первый начал.

— Брат! — сказал Яков.— Кровь пролилась в нашей деревне. Супостаты и ахиды...

— Из-за нас пролилась,— оборвал Прон.— Ты в святцах запиши: из-за нас!

— Брат! — чуть не плача, сказал Яков.— Забыли мы бога. Ох, что теперь начнется!

— Я в Уржум,— торопливо говорил Прон.— Председатель убит.

— Председатель! — вскрикнул Яков. Поднял голову. Звезд не было видно. Яков очнулся: — Нельзя тебе в Уржум. Тебя тут же посадят. За почту.

— Вот на прощанье почту и доставлю. Пора. Яшка!

Он подставил колено. Яков мелькнул лаптями, сел на жеребца. Жеребец, тяжело екая селезенкой, пошел через дорогу.

От конторы закричали: «Стой! Стой!»

— Гони! — крикнул Прон.

Яков скрылся.

Баня пылала. Лохмотья пламени взметывались и гасли.

Прон прошел в калитку, запер ее изнутри, пробежал мимо клети, в которой днем сидел с Анатолием, и огородами спустился к Вятке.

С косогора в деревню наметом шла конница Степачева.

Прон положил на берегу винтовку, забрел по колено, зачерпнул пригоршню тяжелой воды. В воде бликовали отсветы пожара. Ладони саднило. Ожгло исцарапанное лицо, когда Прон плеснул на него. Он зашел поглубже, повернулся лицом к пожару, наклонился к воде и стал пить.

Вода была спокойной, лунный свет проходил ее до дна и все-таки не высветил Анну. А ей уж «шелкова трава ноги опутала, желтые пески на грудь легли...».

С той стороны реки на берег вышла женщина. Остановилась, глядя на пожар. От пламени по воде тянулся к ней красный переливчатый след, более яркий, чем лунная дорожка.

* * *

Пули, которые летели в Прона, а угадали в деревья, сказались через много лет.

В деревне ставили новый дом. Привезли бревна для сруба. Старик плотник вырубал паз и ударил по заблестевшему свинцу...

30 коп.

